



Константин  
Станюкович \_\_\_\_\_

**ГРОЗНЫЙ  
АДМИРАЛ  
БЕСПОКОЙНЫЙ  
АДМИРАЛ**



Константин Михайлович Станюкович

# Грозный адмирал. Беспокойный адмирал

Две повести Константина Михайловича Станюковича о жизни и службе военных моряков 19 века.

Содержание:

— К.М. Станюкович "Грозный адмирал" (повесть), стр. 5-76

— К.М. Станюкович "Беспокойный адмирал" (повесть), стр. 77-197

— Игорь Дуэль "Озарение" (послесловие), стр. 180-186

# Содержание

#1	0006
ГРОЗНЫЙ АДМИРАЛ Повесть	0007
I	0007
II	0014
III	0024
IV	0031
V	0036
VI	0045
VII	0053
VIII	0061
IX	0066
X	0070
XI	0075
XII	0085
XIII	0088
XIV	0098
XV	0104
XVI	0109
XVII	0117
XVIII	0121
XIX	0130
XX	0136
XXI	0143
XXII	0154
XXIII	0159

XXIV	0164
БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ Повесть	0171
I	0171
II	0182
III	0190
IV	0195
V	0211
VI	0223
VII	0230
VIII	0238
IX	0254
X	0273
XI	0285
XII	0291
XIII	0304
XIV	0311
XV	0321
XVI	0330
XVII	0350
XVIII	0353
XIX	0360
XX	0377
XXI	0395
XXII	0403
ОЗАРЕНИЕ ( послесловие )	0408

**Константин Станюкович**  
**ГРОЗНЫЙ АДМИРАЛ**  
**БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ**

**К**. М. Станюкович  
**ГРОЗНЫЙ АДМИРАЛ. БЕСПОКОЙНЫЙ  
АДМИРАЛ**

Одесса, "Маяк", 1987 г.

Серия: "Морская библиотека", книга 44

Обложка: твердая

Формат: 84x108/32 (130x200 мм)

Страниц: 192

Иллюстрация на обложке: А. Синишин

Тираж: 450 000 экз.

# ГРОЗНЫЙ АДМИРАЛ

## *Повесть*

### I

Лишь только кукушка на старинных часах в столовой, выскочив из дверки, прокуковала шесть раз, давая знать о наступлении сумрачного сентябрьского утра 1860 года, как из спальни его высокопревосходительства, адмирала Алексея Петровича Ветлугина, занимавшего с женой и двумя дочерьми обширный деревянный особняк на Васильевском острове, раздался громкий, продолжительный кашель, свидетельствовавший, что адмирал изволил проснуться и что в доме, следовательно, должен начаться тот боязливый трепет, какой, еще в большей степени, царил, бывало, и на кораблях, которыми в старину командовал суровый моряк.

Услыхав первые приступы обычного утреннего кашля, пожилой камердинер Никандр, только что приготовивший все для утреннего кофе адмирала и стороживший в

столовой его пробуждение, стремглав бросился бегом вниз, на кухню, сиявшую умопомрачительной чистотой и блеском медных кастрюль, в порядке расставленных на полках, — и крикнул повару Лариону:

— Встает!

— Есть! — по-матросски отвечал Ларион, внезапно засуетясь у плиты, на которой варились кофе и сливки, и уже облеченный в белый поварской костюм, с колпаком на голове.

— Хлеб, смотри, не подожги, как вчера! — озабоченно наставлял Никандр. — А то сам знаешь, что будет.

Круглолицый молодой повар Ларион, крепостной, как и Никандр, накануне воли, отлично знал, что будет. Еще не далее как вчера он обомлел от страха, когда его позвали наверх к адмиралу. Однако дело ограничилось лишь тем, что адмирал молча ткнул ему под нос ломтем подгоревшего хлеба.

— Не подожгу... Вчера, точно ошибся маленечко, Никандра Иваныч... Передержал.

— То-то, не передержи! Да чтобы сливки с пылу! Через десять минут надо подавать. Не опоздай, смотри!

С этими словами Никандр выбежал из кухни, забежал в свою каморку, чтобы взять платье и на диво вычищенные сапоги адмирала, и вернулся в комнаты. В столовой он снова озабоченно осмотрел стол — все ли в порядке, оглядел пол — нет ли где пыли, и затем, отворив осторожно двери, прошел через кабинет в маленькую, уже опустевшую спальню и, поставив сапоги и сложив бережно платье, стал дожидаться с простыней в руках, когда его кликнут для обычного обтирания после холодной ванны, которую адмирал брал ежедневно.

Этот Никандр, которого прочие слуги в доме звали Никандрой Иванычем, служивший при адмирале безотлучно и в море и на берегу в течение двадцати лет, был сухощавый и крепкий человек лет под пятьдесят, с смышленным, несколько мрачным лицом. Гладко выбритые щеки и подбородок и коротко остриженные волосы придавали Никандру военный вид. Человек он был несообщительный, исправный до педантизма и проворный, как и все слуги адмирала, не терпевшего медлительных движений. Вышколенный бари-

ном и до сих пор сохранивший знак этой "школы" в виде надорванного правого уха, в котором блестела сережка, хорошо изучивший характер и привычки Ветлугина, Никандр сумел так приспособиться к грозному адмиралу, что тот гневался на своего камердинера относительно редко и, по-своему, благоволил к нему. Да и не за что было и придраться к Никандру — до того он был исправен и безукоризнен в исполнении своих обязанностей. Вся его жизнь была, так сказать, поглощена одним адмиралом, заботами, чтобы все было сделано вовремя, чтобы в комнатах была чистота, напоминающая чистоту корабельной палубы, и неодолимым, вечно напоминающим о себе, страхом адмиральского гнева. Казалось, лично о себе Никандр и не думал и собственных интересов не имел, а существовал на белом свете исключительно для адмирала. И только в последнее время, когда слухи о воле стали настойчивее, на сдержанном мрачном лице Никандра появилось по временам какое-то загадочное выражение не то радости, не то недоумения.

Он неизменно просыпался в пять часов

утра, всегда с тревожной мыслью: не проспал ли? Торопливо одевшись, Никандр в своем затертом гороховом сюртуке и в мягких войлочных башмаках начинал мести комнаты и что-нибудь убирал или чистил вплоть до полудня. С полудня он неизменно облакался в черную пару и снова находил себе работу до обеда, когда вместе с другим слугой подавал к столу. Затем он убирал серебро и посуду (все было у него на руках и под его ответственностью), подавал чай и успокаивался только в одиннадцать часов, когда адмирал обыкновенно ложился спать, и все в доме облегченно вздыхали. Тогда Никандр уходил в свою каморку (на половине адмиральши служил другой лакей) и, прочитав "Отче наш", укладывался на своей койке и засыпал, как и просыпался, опять-таки с тревожными мыслями, на этот раз о завтрашнем дне: о том, например, что надо завтра приготовить мундир, надеть ордена и звезды, сходить к портному, взять из починки старый адмиральский сюртук и доложить адмиралу, что запас сахара на исходе.

Прочие слуги в доме уважали и любили

Никандра, и все звали его по имени и отчеству. Он был добрый и справедливый человек, нисколько не гордился своим званием камердинера и старшего слуги и хотя был требователен и, случалось, ругал за лодырство, но никогда не ябедничал и не подводил своего брата. Напротив! Бывало, что он являлся заступником и принимал на себя чужие вины.

Из ванной доносилось фыркание моющего адмирала. Затем слышно было, как он крякнул, погрузившись в холодную, прямо из-под крана, воду. Тогда Никандр, физиономия которого выражала сосредоточенное и напряженное внимание, подошел поближе к двери в ванную. Мипуты через три оттуда раздался отрывистый, повелительный окрик: "Эй!" — и в ту же секунду Никандр уже был за дверями и, накинув простыню на мускулистое, покрасневшее мокрое тело вздрагивавшего высокого адмирала, стал сильно растирать ему спину, поясницу и грудь. Адмирал лишь от удовольствия покрывал и временами говорил:

— Крепче!

И Никандр тер во всю мочь.

Когда адмирал произнес наконец: "Стоп!" — Никандр быстро сдернул простыню, подал сорочку и вышел вон. Адмирал всегда одевался сам.

Через десять минут его высокопревосходительство, заглянув в кабинете, по морской привычке, на барометр и термометр, вышел в столовую в своем легком халате из цветной китайки и в сафьянных туфлях, направляясь быстрой и легкой походкой к столу. Как большая часть моряков, адмирал слегка горбил спину.

Одновременно с его появлением в столовой Никандр подал на стол кофейник, сливки, ветчину и тарелку с ломтями белого хлеба, поджаренными в сливочном масле. Подставив адмиралу стул, камердинер отошел к дверям, и адмирал стал пить из большой чашки кофе, заедая его горячими "тостами" и холодной ветчиной. Пил и ел он с большим аппетитом и необыкновенно скоро, точно торопился, боясь куда-нибудь опоздать.

Несмотря на то что адмиралу стукнуло уже семьдесят четыре года, никто не дал бы ему этих преклонных лет — так еще он был полон жизни, крепок и моложав. Высокий, плотный, но не полный, широкоплечий и мускулистый, он никогда в жизни серьезно не болел и пользовался неизменно могучим здоровьем. Он еще и теперь, несмотря на свои годы, взбегал без передышки на лестницы верхних этажей, исхаживал, не чувствуя усталости, десятки верст и летом в деревне скакал на коне, травя лисиц и зайцев.

Его продолговатое, сухощавое лицо, отливавшее резким румянцем, с загрубелой от долгих плаваний кожей, имело суровый, повелительный вид. В нем было что-то жесткое, непреклонное и властное. Сразу чувствовался в адмирале человек железной воли, привыкший повелевать на палубе своего корабля. Его небольшие серые глаза, с резким и холодным, как сталь, блеском, глядели из-под нависших, чуть-чуть засевевших бровей с выражением какого-то презрительного спокой-

ствия старого человека, выдавшего на своем веку всякие виды и знающего себе цену. Высокий его лоб был прорезан морщинами, и две глубокие борозды шли по обеим сторонам прямого, с небольшой горбиной, носа; но тщательно выбритые щеки, казалось, не поддавались влиянию времени: они были свежи, гладки и румяны. Густые светло-каштановые волосы на голове, подстриженные, как требовала форма, едва серебрились, и только короткие колючие усы были совсем седы. Прическу адмирал носил старинную: небольшой подфабранный кок возвышался над серединой лба, как петуший гребень, а виски прикрывались широкими, вперед зачесанными, гладкими прядками.

В свое время Ветлугин был лихим капитаном, и суда, которыми он командовал, всегда считались образцовыми по порядку, чистоте, железной дисциплине и "дрессировке" матросов. У него, как любовно говорили старые моряки, были не матросы, а "черти", делавшие чудеса по быстроте и лихости работ. Но даже и в давно прошедшее жестокое время, когда во флоте царили линьки и зверская кулачная

расправа считалась обязательным элементом морского обучения, Ветлугин выделялся своей жестокостью, так что матросы называли его между собою не иначе, как "генерал-арестантом" или "палачом-мордобоем". За малейшую оплошность он наказывал беспощадно. Офицеры боялись, а матросы положительно трепетали грозного капитана, когда он, бывало, стоя на юте и опершись на поручни, зорко наблюдал, весь внимание, за парусным учением.

И матросы действительно работали как "черти", восхищая старых парусных моряков своим, в сущности ни к чему не нужным, проворством, доведенным до последнего предела человеческой возможности. Еще бы не работать подобно "чертям"! Матросы знали своего командира, знали, что если марсели на учении будут закреплены не в две минуты, а в две с четвертью, то капитан, наблюдавший за продолжительностью работ с минутной склянкой в руках, отдаст приказание "спустить шкуру" всем марсовым опоздавшего марса. А это значило, по тем временам, получить от озверевших боцманов, под наблюде-

нием не менее озверевшего старшего офицера, ударов по сту линьком короткой веревкой, в палец толщины, с узлом на конце.

Почти после каждого ученья на баке корабля производилась экзекуция десятков матросов. Виноватый спускал рубаху и, заложив за голову руки, становился между двумя боцманами; те по очереди, с расстановкой, били несчастного линьками между лопатками. Матрос, с бледным от страдания лицом, при каждом ударе беспомощно изгибая спину, вскрикивал и стонал. Синева выступала на теле, и затем кровь струилась по истерзанной обнаженной спине.

Разумеется, не всем бесследно проходили подобные наказания. Многие после трехмесячного плавания под командой "генерал-арестанта" заболели, чахли, делались, по выражению того времени, "негодными" и, случалось, провалявшись в госпитале, умирали. Никто об этом не задумывался и менее всего Ветлугин. Он поступал согласно понятиям времени, и совесть его была спокойна. Служба требовала суровой муштровки, "лихих" матросов и беззаветного повиновения, а же-

стокость была в моде.

Этот же самый Ветлугин, спокойно, с сознанием чувства долга "спускавший шкуры" с людей, в то же время неустанно заботился о матросах: об их пище, обмундировании, частных работах, об их отдыхе и досуге. Боже сохрани было у него на корабле потревожить без крайней необходимости команду во время обеда или ужина или в то время, когда она, по судовому расписанию, отдыхает. Он запарывал шкиперов, баталеров и каптенармусов, если замечал злоупотребления. Отдача под суд грозила ревизору, если бы Ветлугин заметил, что матроса обкрадывают. Он презирал казнокрадов и, сам до щепетильности честный, никогда не пользовался никакими, даже и считавшимися в те времена "безгрешными", доходами в виде разных "экономий" и "остатков". Все эти экономии и остатки шли на улучшение пищи и одежды матросов. У него в экипаже[1] матросы всегда были щегольски одеты, ели отлично, имели и на берегу по чарке водки и получали на руки незначительные деньги в добавление к своему скудному жалованью. В этом отношении Вет-

Лугин был безупречен.

Точно так же он не терпел nepoтизма и никогда ни о чем не просил даже за своих сыновей. Старшего своего сына, моряка офицера, служившего на эскадре, которой, уже адмиралом, командовал Ветлугин, он так допекал, был до того к нему строг и придирчив, что сын просил о переводе в другую флотскую дивизию, чтобы только не быть под начальством грозного адмирала-отца. Если он и просил за сыновей, то для того только, чтобы им не мирволили и держали в ежовых рукавицах.

Прокомандовав в течение многих лет эскадрами, Ветлугин был, наконец, произведен в полные адмиралы и получил почетное береговое место в Петербурге.

В описываемое время адмирал Ветлугин давно был на покое и не плавал, перестав быть грозой во флоте. Ему уж не приходилось следить зорким напряженным глазом с подзорной трубою в руках, со своего флагманского стопушечного корабля, за любимой своей эскадрой, шедшей в бейдевинд, под марселями и брамселями, двумя стройными колонна-

ми, в составе нескольких кораблей и фрегат-  
тов, с легкими посылочными судами — шку-  
нами и тендерами, плывущими, словно ма-  
ленькие птички, по бокам гордых кораб-  
лей-лебедей, — не приходилось, говорю, сле-  
дить за эскадрой, которой он только что при-  
казал сделать сигнал: "Прибавить парусов и  
гнать к ветру!" Уж он не любит быстрого  
исполнением сигнала и не видит перед собою  
этих моментально окрылившихся всеми па-  
русами кораблей, которые быстро понесли-  
сь по морю. Не видит он и этого совсем на-  
кренившегося тендера, под командою его сына,  
молодого лихого лейтенанта, — тендера, под  
всеми парусами несущегося к адмиральскому  
кораблю. Он пронесется под самой кормой  
адмирала и, получив на ходу приказание ид-  
ти в Севастополь, мастерски делает крутой  
поворот и, чертя бортом воду, мчится, словно  
чайка, скрываясь от глаз по обыкновению на  
вид сурового, но в душе довольного адмира-  
ла-отца.

Да, ничего он этого не видит, да и не на что  
теперь смотреть! Парусным судам подписан  
смертный приговор, и уже паровые корабли

плавают в море, попыхивая из труб черным густым дымом, оскорбляющим мысленный взор старого "парусника", презрительно называющего новые суда "самоварами", благодаря которым исчезнут будто бы настоящие лихие моряки и "школа".

Теперь адмиралу приходилось лишь вспоминать прошлое в тиши своего кабинета или с такими же представителями старой эпохи, как он сам, стариками адмиралами, слегка фрондируя и презрительно подсмеиваясь над новыми порядками и реформами, введившимися во флоте в то время общего преобразовательного движения, охватившего Россию вслед за Крымской войной.

Старый адмирал чувствовал, что песня его спета бесповоротно и что на свете свершается нечто для него неожиданное и не совсем понятное. Все незыблемые, казалось, устои колебались. Освобождение крестьян было на носу. Отовсюду веяло чем-то новым, каким-то духом свободы и обновления. Во флоте собирались отменить телесные наказания. В "Морском сборнике", которого адмирал был подписчиком, печатались диковинные ста-

тъи: о свободе воспитания, о необходимости реформ, причем осмеивались старые морские порядки и выражалось негодование на жестокое обращение с людьми. Мичмана, казалось адмиралу, уже не с прежней почтительностью отдают ему честь при встрече. Адмирал был несколько ошеломлен, но не смирился перед требованиями времени.

Его особняка на Васильевском острове, по-видимому, нисколько не коснулась новая жизнь. Там он по-прежнему оставался грозным адмиралом, считая свою квартиру чем-то вроде корабля. Он сделался еще суровее, по-прежнему не удостоивал никого из семьи разговором, предпочитая подчас лучше жестоко скучать в одиночестве, чем потерять тот престиж страха и трепета, который внушал он всем своим домочадцам. И все они по-прежнему продолжали трепетать перед грозным адмиралом.

Один лишь младший сын Сережа, семнадцатилетний юноша, кончавший курс в морском корпусе, вселял в адмирале по временам некоторые подозрения. Старику казалось, что этот "щенок" в последнее время не так испу-

ганно и поспешно опускает свои быстрые черные глаза под суровым взглядом адмирала и что будто бы в глазах "мальчишки" скользит какая-то неуловимая улыбка.

Перед суровым взором адмирала до сих пор смиренно опускают глаза, чувствуя невольный страх, и жена и все дети, начиная с первенца, почтенного женатого капитан-лейтенанта, украшенного орденами, и вдруг этот "щенок" с черными глазами как будто оказывает строптивость!

И грозный адмирал делал вид, что не замечает "щенка", когда тот приходил по праздникам из корпуса, хотя и зорко следил за ним во время обеда, сурово хмуря брови и готовый придраться к чему-нибудь, чтобы "разнести" своего Вениамина, олицетворявшего в глазах адмирала ненавистный ему "новый дух".

### III

Адмирал выпил свои две большие чашки кофе, поднялся и, заложив за спину руки, стал ходить по столовой своей обычной быстрой, живой походкой. Убиравший со стола Никандр заметил, что адмирал часто вздергивает плечами и по временам издает отрывистые звуки, точно прочищает горло, — значит, он не в духе, — и Никандр спрашивал себя: отчего это? Уж не узнал ли он, сохрани бог, что Леонид Алексеич (третий сын адмирала, кавалерийский офицер) кутит и играет в азартные игры? Об этом Никандр прослышал от лакея Леонида Алексеича и сокрушался за молодого барина, зная, что добра не будет, если адмирал как-нибудь узнает про это. Или не заметил ли барин вчера, что на половине барыни гости оставались после одиннадцати часов? Или уж не из-за Варвары ли дело? Не встретил ли он кого-нибудь у новой своей сударки?

Не разрешив, однако, причины дурного настроения адмирала, Никандр пошел убирать кабинет и спальню. "Ужо будет гроза!" — по-

думал старый камердинер, мрачно вздыхая.

К семи часам повар Ларион уже стоял у дверей, выжидая, когда барин обратит на него внимание. Он, наконец, обратил и, приблизившись к повару, который низко поклонился и затем замер, вытянув руки по швам, быстро, точно и ясно заказал обед (адмирал распорядился всем в доме сам) и крикнул:

— Понял?

— Понял, ваше высокопревосходительство!

Затем адмирал, по обыкновению, осведомлялся: что сегодня готовят для людей? (Для людского обеда было недельное расписание на каждый день.) Ларион доложил, что кислые щи с говядиной и пшенная каша с маслом. Тогда адмирал шел в кабинет, доставал из письменного стола деньги и, возвратившись, неизменно говорил суровым тоном, подавая повару деньги:

— Не транжирь... смотри!

— Слушаю, ваше высокопревосходительство! — так же неизменно отвечал Ларион и стоял как вкопанный, пока адмирал не говорил ему: "Пошел!" — или не делал соответ-

ствующего знака рукой.

Ровно в восемь часов, когда на военных судах поднимается флаг и гюйс и начинается день, адмирал уже был в сюртуке, застегнутый на все пуговицы. Маленькие остроконечные воротнички в виде треугольников торчали, из-за черного шелкового шейного платка, обмотанного по-старинному, поверх другого платка — белого. Одет он был всегда не без щегольства и любил душиться.

Через четверть часа он неизменно шел гулять, несмотря ни на какую погоду, и, проходя в прихожую, обыкновенно спрашивал у Никандра, махнув головой по направлению к половине адмиральши:

— Спят?

— Точно так!

Адмирал недовольно крякал, надевал пальто и фуражку и выходил на улицу. Гулял он час или полтора, и всегда по Васильевскому острову. На набережной он иногда останавливался и смотрел, как грузятся иностранные пароходы, и, видимо, сердился, если работали тихо, сердился и уходил. При встречах хорошеньких женских лиц адмирал молоде-

вато приосанивался, и с лица его сходило обычное суровое выражение. К женщинам адмирал чувствовал слабость и, несмотря на свой преклонный возраст, был порядочным таки ловеласом. Когда он разговаривал с дамами, особенно молодыми и красивыми, глядя на него, нельзя было подумать, что это грозный адмирал. Он словно весь преобразился: был необыкновенно галантен, весел и разговорчив и очаровывал вниманием и любезностью. Недаром в свое время он пользовался большим успехом среди дам и смущал адмиральшу своими неверностями. Крайне воздержный вообще в жизни, — он почти не пил вина, не курил и ел умеренно, — адмирал имел лишь одну слабость: не мог равнодушно видеть хорошенькую женщину, особенно если у нее был, как он выражался, "красивый товар".

Возвратившись домой, адмирал спрашивал у Никандра: "Встали?" — и, получив ответ, что "изволили встать и кушают чай", проходил прямо в кабинет и проводил там все время до обеда, если не выезжал на службу или с визитами. Сперва он читал газеты

"Times" и "С.-Петербургские ведомости", и читал их от доски до доски, хмурясь по временам, когда какая-нибудь статья возбуждала его неодобрение, что в последнее время случалось-таки часто. Покончив с газетами, он присаживался к письменному столу и в календаре делал краткие отметки и замечания, преимущественно критического характера, о новейших событиях и мероприятиях. Затем он просматривал "Морской сборник" или читал какую-нибудь историческую книгу, ходил по своему обширному, скромно убранному кабинету, по стенам которого висели превосходные английские портреты-гравюры Екатерины, Николая, Нельсона, Суворова и Румянцева, и таким образом коротал свое время. На половину адмиральши и двух дочерей-девиц, бывших институток Смольного монастыря, он заходил в каких-нибудь редких, исключительных случаях и с женой и с дочерьми встречался лишь за обедом или в гостиной, если приезжали гости, к которым адмирал выходил. Дочери никогда не осмеливались переступить порога его кабинета без зова, да и сама адмиральша входила туда, когда нуж-

но было спросить денег, всегда со страхом.

Иногда к адмиралу заходил кто-нибудь из товарищей-адмиралов. Таких он принимал у себя в кабинете, приказывал подать марсалы и английских галетов, и угрюмый кабинет оживлялся. Старики выхваляли прошлые времена, бранили нынешний флот и удивлялись тому, "что нынче творится".

— Резерв какой-то сочинили... Многих вон... Слышал, Алексей Петрович?

— Слышал... А мальчишку назначают морским министром.

"Мальчишка" этот был пятидесятипятилетний вице-адмирал.

— Дожили! — иронически восклицал гость, сухенький, низенький старичок адмирал, известный во флоте своим обычным восклицанием перед товарищескими обедами: "Кто хочет быть пьян — садись подле меня, кто хочет быть сыт садись подле брата!"

— Не до того доживем! Пропадет наш флот!

Отведя свои души, адмиралы уславливались насчет преферанса завтра вечером, гость уходил, и старик снова оставался один.

В половине двенадцатого Никандр обязательно входил в кабинет и докладывал, что "проба" готова. Вслед за тем появлялся повар Ларион в белом костюме, в безукоризненно чистом колпаке на голове, с подносом, на котором в двух маленьких деревянных чашках была "проба" людского обеда. Этот обычай, существующий на военных судах, строго соблюдался и в доме адмирала.

Адмирал обыкновенно съедал полчашки щей, хлебая их деревянной ложкой, и отведал кашу. Если — что случалось редко — проба была нехороша, щи недостаточно жирны и мясо жилистое, адмирал несколько раз тыкал кулаком в лицо Лариона. Бледный, с подносом в руках, он только жмурился при виде адмиральского кулака и уходил иногда с разбитым в кровь лицом.

Сегодня щи были отличные. Адмирал, стоя, выхлебал почти всю чашку, отведал каши и, махнув рукой, сказал: "Обедать!"

В это время вся прислуга, как мужская, так и женская, должна была собраться в кухне: в комнатах оставался дежурный мальчик-казачок. На обед полагалось полчаса.

После завтрака адмирал присел было в кресло у окна и принялся за книгу, но ему не читалось. Он нервно поднялся и заходил по кабинету, поводя плечами и сжимая кулаки.

Видимо, старик был не в духе.

## IV

**В** это самое время в спальне у адмиральши шло совещание.

Адмиральша, высокая, полная, белокурая женщина, за пятьдесят лет, с кротким нежным лицом, сохранившим еще остатки замечательной красоты, советовалась с дочерьми: Анной, немолодой уже девицей около тридцати лет, и молоденькой и хорошенькой Верой, насчет покупки разных вещей к осени, необходимых для нее и для дочерей. Сумма выходила довольно крупная, и это пугало адмиральшу. У нее на руках не бывало денег; за каждым рублем приходилось обращаться к мужу, и надо было улавливать хорошее его настроение, чтобы получение денег обошлось без неприятных сцен.

Эта женщина, выданная по шестнадцатому году замуж за Ветлугина, которого до заму-

жества она видела всего два раза, представляла собой редкий пример кротости, терпения и привязанности. Своей воли у нее не было — муж давно обезличил жену. И несмотря на всегдашнее его полупрезрительное отношение, несмотря на суровый его гнет, она продолжала боготворить мужа, как какое-то высшее существо, боялась и в то же время любила его с какой-то собачьей преданностью. Давно уже лишенная его супружеского внимания, она втайне ревновала, оскорблялась его частыми неверностями и посторонними связями, не смея, разумеется, заикнуться об этом.

После долгого совещания дамы решили пока ограничиться двумястами рублями. Адмиральша сейчас же пойдет в кабинет.

Подойдя к дверям кабинета, она заглянула в замочную щелку. Адмирал, только что переставший ходить, сидел за письменным столом. Адмиральша перекрестилась и тихо стукнула в двери. Ответа не было. Она постучала сильнее.

— Можно! — раздался резкий, недовольный голос.

— Здравствуй, Алексей Петрович! Прости, что беспокою! — проговорила адмиральша своим тихим, певучим, несколько дрожащим от волнения голосом, приближаясь к столу.

— Здравствуй!..

Адмирал протянул жене руку (они уж давно не целовались при встречах) и, не поднимая головы, резко спросил:

— Что нужно?

Адмиральша, говорившая всегда медленно, заторопилась:

— Анюте и Вере необходимы платья и башмаки. И у меня тальма совсем старая, ей уж шесть лет. Кроме того...

— Сколько? — перебил ее адмирал.

— Надо бы по крайней мере двести рублей, но если ты находишь, что это много, я могу и не делать тальмы.

На лице адмирала выражалось нетерпение. Он не выносил многословия, а адмиральша не умела говорить с морской краткостью.

— Короче, Анна Николаевна! Я спрашиваю: сколько?

— Двести рублей.

Адмирал вынул из стола пачку и, подавая

жене, сказал:

— Сосчитай!

Та перечла и поблагодарила за деньги.

— Очень-то франтить не на что. Скажи им.

Слышишь?

— Самое необходимое.

И спросила:

— Можно нам взять карету?

— Возьмите!

Адмиральша повернулась было, чтоб уходить, как адмирал вдруг сердито проговорил:

— Вчера... письмо... (Адмирал презрительно кивнул на лежавшее на столе письмо.)

Вперед жалованье, а? Пишет: "Необходимо?!"

Мотыга! Видно, на кутежи... на шампанское?!

Адмирал зашевелил усами и продолжал после паузы:

— Предупреди этого болвана, чтобы не смел писать, и скажи, что я ни копейки не буду ему давать, коль скоро он не перестанет мотать... Тоже принц... Кутить!

Адмиральша сразу догадалась, о ком идет речь, и, пробуя заступиться за своего любимца, робко и тихо промолвила:

— Я ничего не слыхала... Кажется, Леня...

— Не слыхала?! — перебил адмирал, передразнивая жену. — Не слыхала?! — повторил он, поднимая на адмиральшу злые глаза. — Ты ведь ничего не слышишь, а я не слыхал, а знаю?! Так скажи ему, когда он покажется, что на кутежи денег у меня нет... Слышишь?

— Я скажу, — совсем тихо проронила адмиральша.

— Не то я с ним поговорю... Необходимо?! Кую я, что ли, деньги? Скотина! — вдруг крикнул адмирал и стукнул кулаком по столу так громко, что адмиральша вздрогнула. — Я ему покажу форсить! На Кавказ в армию упрячу подлеца. Так и скажи... Ступай! — резко оборвал адмирал, отворачиваясь.

Адмиральша вышла испуганная, с тревогой в сердце. Этот Леонид в самом деле безумный. Вздумал писать отцу! Не один уж раз давала она потихоньку своему любимцу свои брильянтовые вещи, умоляя его не кутить, а он...

"Надо серьезно с ним поговорить. Отец исполнит угрозу?" — подумала адмиральша, не подозревая, какой страшный сюрприз готовит всей семье беспутный красавец Леня и

какую штуку удерет сегодня Сережа — этот "непокорный Адольф", как шутя звали младшего сына мать и сестры за его речи, совсем диковинные в ветлугинском доме.

## V

**П**еред самым обедом семья адмирала должна была собираться в гостиной.

Боже сохрани, если в это время Ветлугин заставал там какого-нибудь гостя, приехавшего с визитом и не догадавшегося уйти до появления адмирала в гостиной, то есть за пять минут до четырех часов. В таких случаях адмиральша сидела как на иголках, а дочери в страхе волновались, особенно если гость был мало знаком адмиралу, молод и из статских, к которым старый моряк не очень-то благоволил, называя их презрительно "болтливыми сороками".

Увидав в гостиной постороннего, адмирал хмурил брови и недовольно крякал, еле кивая головой в ответ на поклон гостя. Он выжидал минуту-другую, затем вынимал из-за борта сюртука свою английскую, старинного фасона, золотую луковицу-полухронометр

(хотя отлично знал время) и, взглянув на часы, говорил:

— Мы, кажется, обедаем в четыре!

Адмиральша и дочери краснели, не смея взглянуть на гостя. Тот, сконфуженный, вскакивал, рассыпаясь в извинениях, и, откланявшись, поспешно исчезал, порядочно-таки напуганный суровым моряком, и, случалось, слышал из залы резкий голос адмирала, спрашивающего у жены:

— Это еще что за нахал?

Адмиральша робко объясняла, что это камер-юнкер Подковин... Приезжал с визитом... Он очень хорошо принят у адмирала Дубасова и вообще...

— Женихов ловите? — перебивал старик, поводя на дам презрительным взглядом. — Этот ваш Подковкин — или как там его?.. хам! Засиживается до обеда. Чтоб я его больше никогда не видал! — резко обрывал Ветлугин.

И бедной адмиральше, очень любившей общество и большой охотнице поболтать всласть, особенно на романические темы, приходилось иногда отказывать знакомым, которые не нравились мужу, или же звать их

в те вечера, когда адмирал бывал в английском клубе.

В этот день в гостиной, по счастью, чужих не было. К обеду явились сыновья Николай и Григорий, молодые офицеры, и Сережа, отпущенный из корпуса по случаю завтрашнего праздника.

В ожидании адмирала разговаривали тихо и остерегались громко смеяться. На всех лицах была какая-то напряженность. Один лишь Сережа, стройный, гладко остриженный юноша в кадетской форме, с живой, подвижной физиономией и бойкими черными глазами, похожий своей наружностью на мать, а живостью манер и темпераментом — на отца, о чем-то с жаром шептал любимой сестре Анне, которой он поверял все свои тайны и заветные идеи, юные и свежие, как и сам этот юноша, выраставший в эпоху обновления.

Анна слушала своего фаворита с выражением изумления и испуга на своем серьезном и добром лице и, когда Сережа остановился, тихо воскликнула:

— Ты с ума сошел, Сережа?

Юноша усмехнулся. Он с ума не сходил... Напротив, он за ум взялся... Он обдумал свое намерение и решил поговорить с отцом.

— Да разве он тебе позволит?

— Я постараюсь убедить его.

— Ты?! Папеньку?!

— Да, я! — задорно отвечал Сережа. — Он тронется горячей просьбой... Не каменный же он... Помнишь, Нюта, маркиза Позу? Подействовал же он на короля Филиппа?.. Ведь подействовал?

Но сестра, не разделявшая иллюзий юного маркиза Позы, с видом сомнения покачала головой.

— Ах, Нюта, как жаль, что ты не читала "Темного царства"! — снова заговорил вполголоса Сережа. — Прелесть! Восторг! Ты должна прочитать... Я тебе принесу "Современник"... Ты увидишь, Нюта, к чему ведет родительский деспотизм... У нас здесь то же темное царство, и вы все...

Сережа вдруг смолк, оборвавши речь. Смолкли и другие разговаривавшие. В гостиную вошел адмирал, по обыкновению ровно за пять минут до четырех часов.

Все, кроме адмиральши, поднялись и поклонились. Адмирал кивнул головой, ни на кого не глядя, и заходил взад и вперед, поводя плечами и хмурия брови. Все снова уселись и заговорили шепотом. Эта атмосфера боязливого трепета, по-видимому, нравилась старому адмиралу, и он в присутствии семьи обыкновенно напускал на себя самый суровый вид и редко, очень редко удостоивал обращением к кому-нибудь из членов семейства.

— Ты видишь? Папенька сегодня не в духе! — шепнула Анна на ухо Сереже.

— Не в духе? Он у вас всегда не в духе... Самодур! А вы трепещете, как рабы, хоть и считаете себя людьми! — отвечал вполголоса Сережа, и его возбужденное лицо дышало презрением.

Анна громко кашлянула, чтобы отец не услышал Сережиных слов, и, умоляюще взглядывая на брата, сжала ему руку.

Адмирал покосился на Сережу, но, очевидно, не слышал, что он говорил. Он продолжал ходить по гостиной и, не обращая, казалось, ни на кого внимания, достал из кармана красный фуляровый носовой платок, высморкал-

ся и обронил его.

Гриша первый со всех ног бросился подымать платок и подал его отцу с самой почтительной улыбкой, сиявшей на его красивом лице. Казалось, он весь был необыкновенно от этого счастлив. Голубые его глаза светились восторгом. Адмирал даже не поблагодарил молодого офицера, а как-то сердито вырвал у него платок и спрятал в карман.

Этот Гриша, или, как все его звали, "тихоня Гриша", был самый почтительный и, казалось, самый преданный сын, к которому адмирал ни за что и никогда не мог придраться. Тихий и рассудительный, исполнявший свои сыновние обязанности с каким-то особенным усердием, глядевший в глаза отцу и матери, сдержанный и скромный не по летам, он, несмотря на все свое добронравие и старание всем понравиться, не пользовался, однако, большой любовью в семье. И сам грозный адмирал, казалось, нисколько не ценил ни его всегдашней угодливости, ни его почтительно-радостного вида и был с ним резок и сух, как и с другими детьми, исключая первенца Василия, командира корвета, и двух старших

замужних дочерей-генеральш.

— Наш-то "лукавый царедворец"! — шепнул сестре Сережа, указывая смеющимися глазами на брата, которого Сережа недолюбливал, считая его отчаянным карьеристом и угадывая в нем, несмотря на его смиренную скромность, хитрого и пронырливого эгоиста.

Анна строго покачала головой: "Молчи, де-скать!"

— Далеко пойдет Гришенька. Спинка у него гибкая! — продолжал шептать Сережа.

Адмирал вдруг сделал крутой поворот и остановился перед Сережей.

Кроткая Анна в страхе побледнела.

— Ты почему не в корпусе? — грозно спросил адмирал.

— Завтра праздник! — отвечал чуть дрогнувшим от волнения, но громким голосом Сережа, вставая перед отцом.

Адмирал с секунду глядел на "щенка", и в стальных глазах его, казалось, готовы были вспыхнуть молнии. Анна замерла в ожидании отцовского гнева. Но адмирал внезапно повернулся и снова заходил по гостиной, грозный, как неразряженная туча.

Через минуту появился Никандр, весь в черном, в нитяных перчатках, с салфеткой в руке, и мрачно-торжественным тоном провозгласил:

— Кушать подано!

Адмирал быстрыми шагами направился в столовую, и все, с адмиральшей во главе, двинулись вслед за ним.

— Прикуси ты свой язык, Сережа! — заметила Анна, шедшая с братом позади.

— Нет, ты лучше посмотри, Нюточка, на Лукавого царедворца! Идет-то он как!

— Как и все, думаю...

— Нет, особенно... Приглядишься: в его походке и смирение, и в то же время скрываемое до поры величие будущего военного министра... Гриша хоть и прапорщик, а втайне уж мечтает о министерстве... Он, наверное, будет министром.

— А ты всегда останешься невоспитанным болваном! — чуть слышно и мягко проговорил, оборачиваясь, Гриша.

— Слушаю-с, мой высокопоставленный и благовоспитанный братец! Не забудьте и нашу малость, когда будете сановником! — от-

вечал, улыбаясь, Сережа, отвешивая брату по-чтительно церемонный поклон.

— Осел! — шепнул Гриша, бледнея от злости.

— Тем лучше, чтобы иметь честь служить под вашим начальством! отпарировал Сережа, умевший доводить сдержанного брата до белого каления.

— Сережа, перестань! — остановила его Анна, не переносившая никаких ссор и бывшая общей миротворицей в семье.

— Я молчу... А то господин военный министр, пожалуй, прикажет своим нежным голоском расстрелять Сергея Ветлугина! — произнес с комическим страхом Сережа.

— Ах, Сергей, Сергей! — попеняла, улыбаясь кроткой улыбкой, Анна и значительно прибавила:

— Надеюсь, ты отложишь свое намерение и не будешь говорить с отцом?

— Не надейся, ангелоподобная Анна... Ты пойми, голубушка: я обязан говорить...

— Безумный, упрямый мальчишка! — прошептала с сокрушением Анна, пожимая потцовски плечами, и вошла вместе с юным

маркизом Позой в обширную, несколько мрачную столовую.

## VI

Выпив крошечную рюмку полынной водки и закусив куском селедки, адмирал, выждав минуту-другую, пока закусят жена и дети, сел за стол и заложил за воротник салфетку. По бокам его сели дочери, а около адмиральши, на противоположном конце, — сыновья. Два лакея быстро разнесли тарелки дьявольски горячего супа и подали пирожки. Адмирал подавил в суп лимона, круто посыпал перцем и стал стремительно глотать горячую жидкость деревянной ложкой из какого-то редкого дерева. Три такие ложки, вывезенные Ветлугиным из кругосветного плавания, совершенного в двадцатых годах, всегда им употреблялись дома.

Остальным членам семейства, разумеется, было не особенно удобно есть горячий суп серебряными ложками и поспевать за грозным адмиралом, обнаруживавшим гневное нетерпение при виде медленной еды, — и почти все домочадцы, не доедая супа, делали знаки

лакеям, чтобы они убирали тарелки, пока адмирал кончал. Если же, на беду, старик замечал убранную нетронутую тарелку, то с неудовольствием замечал:

— Мы, видно, одни фрикасе да пирожные кушаем, а? Тоже испанские гранды! — язвительно прибавлял Ветлугин.

Почему именно испанские гранды должны были есть исключительно фрикасе и пирожные — это была тайна адмирала.

Все молодые Ветлугины, впрочем, довольно искусно надували его высокопревосходительство на супе, и старику редко приходилось ловить неосторожных, то есть не умевших вовремя мигнуть Никандру или Ефрему.

Обыкновенно обед проходил в гробовом молчании, если не было посторонних, и длился недолго. Обычные четыре блюда подавались одно за другим скоро, и вышколенные лакеи отличались проворством. Среди этой томительной тишины лишь слышалось тикание маятника да чавканье грозного адмирала. Если кто и обращался к соседу, то шепотом, и сама адмиральша избегала говорить громко, отвечая только на вопросы мужа, ко-

гда он, в редких случаях, удостоивал ими жену.

Зато сам адмирал иногда говорил краткие, отрывистые монологи, ни к кому собственно не обращаясь, но, очевидно, говоря для общего сведения и руководства. Такие монологи разнообразили обед, когда адмирал бывал не в духе. Все в доме звали их "бенефисами".

Такой "бенефис" был дан и сегодня. Туча, не разразившаяся грозой, разразилась дождем сердитых и язвительных сентенций.

Как только адмирал скушал, со своей обычной быстротой, второе блюдо и запил его стаканом имбирного пива, выписываемого им из Англии, он кинул быстрый взгляд на своих подданных, поспешно уплетавших рыбу, с опасностью, ради адмирала, подавиться костями, — и вдруг заговорил, продолжая вслух выражать то, что бродило у него в голове, и не особенно заботясь о красоте и отделке своих импровизаций:

— Мальчишка какой-нибудь... офицеришка... Шиш в кармане, а кричит: "Человек, шампанского!" Вместо службы, как следует порядочному офицеру, на лихачах... "Пошел!

Рубль на чай!" Подлец эдакой! По трактирам да по театрам... Папироски, вино, карты, миллиарды... По уши в долгу... А кто будет платить за такого негодяя? Никто не заплатит! Разве какая-нибудь дура мать! Такому негодяю место в тюрьме, коль скоро честь потерял... Да! В тюрьме! — энергично подчеркнул адмирал, возвышая свой и без того громкий голос, точно кто-нибудь осмеливался выражать сомнение. — А поди ты... Пришел этот брандахлыст в трактир, гроша нет, а он: "Шампанского!" — снова повторил адмирал, передразнивая голос этого воображаемого "негодяя", без гроша в кармане требующего, по мнению адмирала, шампанского.

Все отлично понимали, что грозный адмирал главным образом имел в виду отсутствующего беспутного Леонида. Но и Николай, добродушный и веселый поручик, не без некоторого права мог наматывать на свои шелковистые темные усы адмиральскую речь, ибо тоже был повинен и в лихачах, и в ресторанах, и в долгах, хотя и не походил, разумеется, в полной мере на того "брандахлыста", которого рисовала фантазия грозного ад-

мирала.

И Николай, как и все сидевшие за столом, слушал грозного адмирала, опустивши глаза в тарелку и со страхом думая: как бы отец не проведал об его долгах и не лишил сорока рублей, которые давал ежемесячно. Сережа слушал без особенного внимания, занятый думами о речи, которую он, по примеру маркиза Позы, скажет адмиралу после обеда. Эти думы, однако, не помешали ему переглянуть-ся с сестрой Анной взглядом, говорящим, что "бенефис" к нему не относится.

Гриша не опустил очей своих долу. Напротив, он впился в адмирала своими большими и красивыми голубыми глазами и весь почти-тельно замер, боясь, казалось, пропустить одно слово и внимая, как очарованный. И его нежное румяное лицо женственной красоты светилось выражением безмолвного одобрения доброго, преданного сына, сознающего, что он чист, как горлица, и что отцовские угрозы его не касаются.

Но напрасно он тщился обратить на себя внимание адмирала. Ветлугин не видал его, а смотрел через головы, куда-то в угол столо-

вой, и, после небольшой паузы, снова заговорил:

— ...В тысяча семьсот девяносто шестом году, когда меня с братом Гавриилом привезли в морской корпус, покойный батюшка дал нашему дядьке пять рублей ассигнациями для нас... И с тех пор ничего не давал... Я офицером на свое жалованье жил... Каждая копейка в счету... И никогда не должен... А теперь?.. Всякий: "Пожалуйте, папенька, денег!" Шалыганы!.. Государственного казначейства мало мотыгам!

Гриша одобрительно хихикнул, правда, очень тихо, но адмирал услышал и, взглянув на сына, совершенно неожиданно крикнул со злостью:

— А ты чего вылупил на меня свои буркалы, а? Думаешь: совершенство!.. Образцовый молодой щеголь?! Тихоня?! Очень уж ты тих... Из молодых да ранний... Просвирки старым генеральшам подносишь? Через баб думаешь в адъютанты попасть, а? У генеральш на посылках быть!.. Просвирки?! Это разве служба?.. Мерзость!.. Вздумай у меня только в адъютанты... Я тебя научу, как служить... А то

просвирки!.. Что выдумал, молодчик?.. Я с заднего крыльца не забежал. Помни это, тихоня! А еще Ветлугин! В кого ты? — презрительно закончил адмирал.

Гриша слушал, бледный, давно опустив свои прелестные глаза. Все испытывали тяжелое чувство, и Анна, казалось, страдала более всех за брата, которому отец бросал в глаза такие обвинения.

Между тем Никандр, бесстрастный и мрачный, уже целую минуту стоял около адмирала с блюдом жаркого. Адмирал наконец повернул голову и взял кусок телятины. Он ел и по временам раздражался отрывистыми фразами:

— Шиш в кармане, а тоже: "шампанского"!.. Брандахлысты!.. Просвирку?! Лакейство... Нечего сказать: служаки...

Наконец он смолк, и все вздохнули свободнее. Остальным не попало. Туча иссякла.

— А ты что, Анна?.. Нездорова? — вдруг обратился адмирал к дочери, заметив ее бледное лицо.

Тон его был, по обыкновению, сух и резок, но в нем звучала нежная нотка.

Это внимание, необыкновенно редкое со стороны адмирала, смутило Анну своею неожиданностью, и она первое мгновение молчала.

— Глуха ты, что ли? Я спрашиваю: нездорова?

— Нет, я здорова, папенька...

— Бледна... Выпей марсалы! — резко приказал адмирал.

Анна послушно выпила полрюмки марсалы.

— Дохлые вы все какие-то! — кинул адмирал с презрительным сожалением, покосясь на обеих дочерей, и поднялся с места.

Все встали и начали креститься, за исключением адмирала. Затем дети поклонились отцу и стали подходить к ручке адмиральши.

Адмирал прошел к себе, а остальные направились на половину адмиральши пить кофе. Адмиралу кофе подавали в кабинет.

Один лишь Сережа, несмотря на просьбы Анны, оставался в столовой, решительный, взволнованный, готовый исполнить свое намерение. Уж в голове его готова была горячая речь, которой он надеялся тронуть грозного

адмирала.

## VII

**И**, несмотря на решимость, Сережа все-таки испытывал жестокий страх при мысли, что вот сейчас он пойдет к грозному адмиралу. Этот страх пред отцом оставался еще с детства, когда, бывало, после каждого утреннего посещения отцовского кабинета для пожелания папеньке доброго утра, няня Аксинья обязательно должна была менять ребенку панталончики, — такой панический трепет наводил один вид грозного адмирала на впечатлительного ребенка.

Детство пролетело быстро, и Сережу с юга отправили в морской корпус. Оттуда он ходил по праздникам к доброй и умной тетке, сестре матери, у которой было совсем не так, как дома. У тетки чувствовалось свободно и легко. Дядя был старый профессор, мягкий и ласковый. К ним ходили учителя и студенты, и слышались совсем иные речи. Под влиянием этой обстановки и этих речей и выросал Сережа, пока адмирал не переехал в Петербург, и Сереже опять приходилось проводить

праздники в отчете доме.

Но семя уже было заброшено в душу юноши, да и время было горячее, увлекавшее не одних юношей. И Сережа в корпусе упивался журналами, читал Белинского, обожал Добролюбова и, посещая иногда тетку, слушал восторженные речи людей, приветствовавших зарю обновления, жаждавших света знания...

Сережа все еще стоял у окна в столовой и не решался идти. Двери кабинета были открыты. Адмирал еще не ушел спать, а сидел за письменным столом и отхлебывал маленькими глотками кофе.

"Уж не поговорить ли завтра утром?" — промелькнуло в голове юноши.

Но в это мгновение Анна появилась в дверях столовой, и Сереже вдруг стало стыдно за свое малодушие. Он сделал ей знак рукой и с отвагой охотника, идущего в берлогу медведя, несмотря на умоляющий шепот Анны, храбро вошел в кабинет и в ту же секунду совсем забыл свою давно приготовленную речь.

Грозный адмирал поднял голову и, казалось, глядел не особенно сурово.

— Папенька, — начал Сережа нетвердым,

дрожащим голосом, — я пришел к вам с большой, большой просьбой, от которой зависит вся моя будущая жизнь...

Этот горячий, взволнованный тон, это возбужденное открытое лицо юноши, с дрожащими на глазах слезами, в первую минуту изумили адмирала.

— Какая там будущая жизнь?.. Что нужно? — удивленно спросил он.

— Я бы хотел серьезно учиться, чтобы быть со временем действительно полезным человеком... Папенька! Позвольте мне перейти из корпуса в университет.

— Что? — вдруг крикнул адмирал. — Повтори, что ты сказал?

И глаза адмирала зажглись огоньком. Ключие его усы заходили. Он, видимо, еще сдерживался и даже иронически улыбался, намереваясь сперва поиграть с этим смелым "щенком".

— Я говорю: разрешите мне поступить в университет! — повторил Сережа уже более твердым голосом.

Это было уж слишком! Адмирал, казалось, не верил своим ушам.

— В университет!! Бунтовать?! И ты, щенок, осмелился просить! Ты смел, негодяй?.. Я тебе дам университет, пащенку эдакому!

Сережа вспыхнул, и ноздри его задрожали, как у степного коника. Какая-то волна подхватила его. Он смело взглянул в лицо адмирала и сказал:

— Я вас серьезно прошу об этом, но если вы не позволите, я все равно...

Бледный и грозный вскочил адмирал, как ужаленный, с кресла. С секунду он уставил свои стальные глаза на сына. Скулы его ходили. Он весь вздрагивал.

— Мерзавец! Ты смел?..

И с поднятым кулаком и с искаженным от гнева лицом он двинулся к сыну.

Сережа стал белей рубашки, и его черные глаза заблестели, как у волчонка. Он отступил шага два назад и, инстинктивно сжимая кулаки, крикнул каким-то отчаянным голосом, в котором были и угроза и мольба:

— Убейте, если хотите, меня, но бить я себя не позволю! Слышите... Я не боюсь вас!

Глаза обоих встретились, как две молнии. Должно быть, в глазах Сережи было что-то та-

кое страшное и решительное, что грозный адмирал вдруг остановился, опустил кулак и каким-то подавленным, хриплым голосом произнес:

— Вон отсюда, мерзавец!

Сережа вышел, весь дрожа от волнения, чувствуя какой-то жгучий трепет и в то же время радостное ощущение одержанной победы над грозным адмиралом. Теперь уж он его физически не боялся, и ему вдруг стало жаль отца.

Анна, видевшая сцепу в кабинете, трепещущая и скорбная, встретила брата в коридоре, увела в свою комнату и, усадив на кушетку, крепко обняла его и залилась слезами. Сережа улыбался и плакал, утешая сестру.

А грозный адмирал как сел в кресло, так и закаменел в нем. Неподвижно просидел он весь вечер и все, казалось, не мог сообразить происшедшего. До того все это было невозможно, до того непонятно адмиралу, привыкшему к безусловному повиновению и не знавшему никогда никакой препоны своей воле. И вдруг этот щенок! Эти решительные, смелые глаза! Уж не перевернулся ли свет?..

Он переживал едва ли не впервые горечь стыда и унижения и невольно чувствовал, что побежден щенком, — чувствовал, и злоба охватывала старика.

Но, несмотря на эту злобу, когда он пережил ее остроту, там, где-то в глубине его души, пробивалось невольное чувство уважения к этому смелому, энергичному щенку. И отцовская кровь говорила, что этот щенок — его сын по характеру.

Все домашние, кроме Анны; были поражены и возмущены поступком Сережи. Адмиральша всплакнула, говорила, что дети ее в гроб сведут (хотя трудно было ожидать этого, судя по ее наружности), и бранила Сережу. Теперь он не может показаться на глаза отцу, пока отец его не простит... И как он смел противоречить отцу? Гадкий мальчишка! Сережа слушал упреки матери самым покорным образом и, когда адмиральша кончила, поцеловал ее так детски-горячо, что адмиральша опять всплакнула, послала Анну в спальню за флаконом со спиртом и внезапно объявила, что она совсем больна. И, в подтверждение этого факта, она приняла томный вид, легла

на диван, велела покрыть себя шалью и принести французский роман.

Вера прямо объявила, что Сережа помещался, а Гриша прошипел, что Сереже несдобровать...

— Попадет он куда-нибудь! — многозначительно прибавил Гриша...

— Будь уверен, что только не в адъютанты, — поддразнил Сережа.

Весь вечер он провел у Анны в комнате. Чай туда ему подал сам Никандр и так сочувственно глядел на "барчука" и подал ему таких вкусных кренделей, что Сережа особенно горячо поблагодарил его и сказал:

— Скоро волю объявят, Никандр Иванович...

— То-то... скоро, говорят, Сергей Алексеич... А вы не отчаивайтесь, неожиданно прибавил Никандр, — потерпите, и вам воля будет!..

На следующее утро адмирал надел мундир и поехал к морскому министру просить о немедленном назначении Сережи на корвет, отправляющийся через две недели в кругосветное плавание на три года.

Министр с удовольствием обещал испол-

нить желание адмирала, хоть и несколько удивился такому желанию...

— Сын ваш кончает курс... Осталось всего полгода... Будущим летом и отправили бы молодца, ваше высокопревосходительство... Или очень уж хочется ему в море?

— Он-то не хочет, да я этого хочу, ваше превосходительство.

— А что, разве пошаливает?

— Сын мой, ваше превосходительство, не пошаливает! — внушительно ответил адмирал. — Он честный и смелый молодой человек, но... захотел вдруг в студенты... Так пусть проветрится в море... Дурь-то эта и выйдет-с.

— Пусть проветрится!.. Это вы отличное средство придумали, Алексей Петрович!.. — засмеялся министр. — А то в студенты!! С чем это сообразно?!

Такого сюрприза со стороны адмирала юный маркиз Поза не ожидал, сидя в корпусе и мечтая после производства выйти в отставку и поступить в университет.

Вместо университета пришлось торопливо собираться и во что бы то ни стало примириться с грозным адмиралом перед долгой

разлукой.

## VIII

До ухода корвета в море оставалось лишь три дня, а Сережа все еще не получал разрешения показаться на глаза адмирала. Адмирал словно забыл о сыне и ни единым словом не упоминал о нем при домашних. Те, в свою очередь, остерегались при отце говорить о Сереже.

Бедная адмиральша не знала, как и быть. Неужели Сережа так-таки и уйдет на целые три года в кругосветное плавание, не прощенный отцом и не простившись с ним перед долгой разлукой? Это обстоятельство крайне сокрушало добрую женщину; она немало пролила слез и немало фантазировала о том, как бы потрогательнее примирить отца с сыном и самой принять в этом примирении деятельное участие, — но, разумеется, все только ограничилось одними чувствительными мечтами несколько сентиментальной адмиральши. Заговорить с мужем о Сереже она не осмеливалась, очень хорошо зная, что это ни к чему не поведет и что муж на нее же рас-

кричится. В подобных случаях адмирал обыкновенно сам объявлял через нее помилование опальному члену семьи, и лишь после такого объявления подвергшийся отцовской опале мог являться на глаза отцу без риска быть выгнанным.

Случалось, что такие опалы длились долго, и адмиральша помнила, как несколько лет тому назад старший сын Василий целых два месяца не допускался к отцу, вызвав его гнев каким-то неосторожно сказанным словом противоречия. А этот отчаянный мальчишка, этот безумный Сережа совершил поступок, неслыханный в преданиях ветлугинского дома. Мало того, что он дерзнул перечить отцу, он еще осмелился угрожать и сказать, что не боится его?!

"И ведь действительно не испугался!" — с изумлением думала адмиральша, не понимая, как это можно не бояться Алексея Петровича. А главное, после всего, что позволил себе дерзкий сын, — он вышел целым и невредимым из отцовского кабинета. Эта безнаказанность особенно поражала и ставила в тупик Анну Николаевну, помнившую былые

расправы сурового отца с детьми. Она решительно не могла сообразить, как могло случиться подобное чудо.

При таких обстоятельствах страшно было и приступить к адмиралу, тем более, что последнее время он был неприступно суров. Он придирался ко всем домашним, кричал за обедом на сыновей, особенно на Гришу, один покорно-почтительный вид которого приводил, казалось, адмирала в раздражение, распекал дочерей и жену. Не далее как на днях она просила у мужа позволения сходить дочерям к тетке, и когда адмирал сказал, что "нельзя", адмиральша имела неосторожность осведомиться: "Отчего нельзя?"

— Оттого, что земля кругла! Понимаешь, сударыня? — крикнул на нее адмирал, сверкнув очами.

Доставалось за это время и слугам. Никандр был несколько раз обруган, а Ефрем и повар Ларион жестоко избиты за какую-то неисправность. Одним словом, грозный адмирал бушевал, словно бы желая удостовериться после сцены с Сережей, что все остальные его подданные по-прежнему трепещут перед

ним, покорные его воле.

Убедившись в этом, адмирал понемногу стал "отходить".

Не решаясь говорить с мужем о Сереже прямо, адмиральша, сокрушавшаяся все более и более по мере приближения дня ухода корвета, отважилась, наконец, напомнить о сыне стороной и, войдя в кабинет адмирала, спросила уныло-жалобным тоном:

— Ты позволишь нам, Алексей Петрович, проводить Сережу?.. Через три дня корвет уходит... Можно тогда поехать в Кронштадт?

Адмирал бросил на жену презрительно-удивленный взгляд и ответил:

— Дурацкий вопрос! Конечно, проводите... И пусть все братья проводят. Дай знать своему балбесу Леониду!

И с этими словами Ветлугин опустил глаза на книгу, делая вид, что занят и разговаривать не желает.

Адмиральша ушла из кабинета грустная.

"Он, очевидно, не хочет простить Сережу!" — думала она, не получив объявления о помиловании строптивого сына.

А "строптивый сын" все это время прихо-

дил в отчий дом и уходил из него с заднего крыльца. Большую часть времени он проводил в комнате Анны, куда никогда не заглядывал отец. Там же он и ночевал, а сестра перебиралась к матери. Туда же ему потихоньку Никандр приносил обед и подавал чай. Все были уверены, что адмирал, отдавший приказание не пускать Сережу в дом, не знает о присутствии сына, но адмирал отлично знал об этом, хотя и делал вид, что ничего не знает.

Мать и Анна заботливо снарядили Сережу: они сделали ему статское платье и дюжину голландских рубашек, чтобы ему было в чем съезжать на берег в заграничных портах, и снабдили на дорогу деньгами — ведь до производства в офицеры Сережа никакого жалования получать не будет! На снаряжение сына мать принуждена была заложить брильянтовую брошь, да Анна великодушно отдала своему любимцу весь свой капитал, сто рублей, подаренные ей отцом на именины. Не забыла Сережу и тетка.

## IX

**П**отерпев неудачу в своей дипломатической миссии, адмиральша вошла к Анне и, увидев, что Сережа и сестра весело и оживленно беседуют, приняла обиженно-страдальческий вид и рассказала о своей бесплодной попытке перед адмиралом в самом мрачном тоне.

— Послушай, Сережа! — обратилась она вслед за тем к сыну, — отец тебя не простит... Ты так и уйдешь без отцовского благословения! — продолжала адмиральша, забывшая, вероятно, что адмирал никогда не благословлял детей и вообще не мог терпеть всяких чувствительных сцен. — Ведь это ужасно! Ты в самом деле страшно виноват перед отцом... Страшно виноват! — повторяла она. — А между тем ты и ухом не ведешь. Сидишь тут и весело разговариваешь в то время, когда я хлопочу о твоём прощении.

— Но позвольте, маменька... — начал было Сережа.

— Ах, не спорь, пожалуйста. Не огорчай меня еще больше. И без того я из-за тебя не

сплю ночей. Вы меня все, кажется, в гроб сведете! прибавила свою обычную фразу адмиральша, готовая и любившая поплакать при каждом удобном случае и необыкновенно скоро переходившая от слез к смеху и обратно.

— Чего же вы хотите от Сережи? — вступилась Анна. — Вы только и говорите ему каждый день, что он виноват. Пожалейте и его...

Сережа ответил сестре благодарным взглядом и мягко сказал матери:

— Допустим, что я виноват, маменька, но дела уж не поправишь. Отец не хочет даже проститься со мной... Что же мне делать?

Адмиральша несколько секунд молчала и затем, словно бы осененная счастливой мыслью, значительно и торжественно произнесла:

— Знаешь, что я тебе посоветую, Сережа?

— Что, маменька?

— Иди сейчас к отцу (он не очень сердитый! — вставила адмиральша) и пади ему в ноги... Скажи, что ты сознаешь свою вину и вообще что-нибудь в этом роде. Чувство подскажет слова. Это его тронет. Он, наверное,

простит и даст тебе денег! — совсем неожиданно прибавила адмиральша такой прозаический финал к своим чувствительным словам.

Но это предложение, видимо, не понравилось Сереже, и он ответил:

— Как же я буду говорить то, чего не чувствую? Я люблю отца, но не стану бросаться ему в ноги.

— Ну и дурак... и болван... и осел! — вдруг вспыхнула адмиральша. — И уходи без отцовского прощенья!.. Нет, решительно, этот мальчишка сведет меня в могилу! — закончила она и, всхлипывая, ушла к себе в спальню.

Но не прошло и четверти часа, как она вернулась уже без слез на глазах, с двумя червонцами в руке.

— Вот тебе, Сережа! Неожиданные! — проговорила она со своей обычной нежностью, улыбаясь кроткою, чарующею улыбкой, и подала червонцы сыну. Сейчас, совсем случайно, я их нашла у себя в комодке. Вообрази, Анята, они завалились в щель, а я-то их месяц тому назад искала, помнишь? Еще бедную Настю подозревала... Теперь нашлись

как раз кстати!..

Сережа с горячностью целовал нежную, пухлую руку матери.

— Пойдемте-ка, дети, ко мне чай пить... Твое любимое варенье будет, непокорный Адольф! — продолжала адмиральша с ласковою шуткой, обнимая Сережу... — В плавании таким вареньем не полакомишься. Идем! Он не заглянет к нам... Он сейчас куда-то уехал! — прибавила адмиральша успокоительным и веселым тоном.

И, когда они пили чай в ее маленькой гостиной, она так ласково и нежно глядела на Сережу и все подкладывала ему черной смородины щедрой рукой.

— Он, наверное, простится с тобой! Не может быть, чтобы не простился!.. Ведь ты на три года уходишь, мой милый! — говорила адмиральша, видимо желая утешить и себя и Сережу.

— И я так думаю! — заметила Анна.

— Ну... еще бог вещь, простит ли папенька! — вставила красивая Вера.

— Ты глупости говоришь, Вера!.. — с сердцем произнесла адмиральша.

— Да вы же сами говорили, что папенька не простит... Я повторяю ваши же слова! — язвительно прибавила Вера.

— Так что же, что я говорила?.. Ну, говорила, а теперь думаю иначе... А ты не каркай, как ворона! "Говорила"! Мало ли что скажешь! Отец вот позволил всем нам ехать в Кронштадт провожать Сережу! — прибавила адмиральша в виде веского аргумента в пользу прощения и с укоризной взглянула на дочь.

## Х

**Н**о прошел день, прошел другой, а грозный Адмирал ни слова не проронил о Сереже, и адмиральша совсем упала духом, потеряв всякую надежду на прощение сына. Она — всегда благоговевшая перед мужем и признававшая его своим повелителем — теперь даже позволила себе мысленно обвинять его, находя, что слишком жестоко так карать бедного мальчика, хотя бы и виноватого. И эти последние дни она с какой-то особенной страстной порывистостью ласкала своего Вениамина, проливая над ним слезы и кстати

вспоминая, с болью в сердце, о своей грустной доле отверженной жены после рождения именно этого самого Сережи.

И все неверности мужа, все эти его связи с гувернантками, с боннами, няньками и горничными, почти на глазах, без всякой пощады ее женского самолюбия и достоинства жены, — всплывали с ядовитой горечью в воспоминаниях адмиральши, оскорбляя ее чувство затаенной ревности. И теперь он — адмиральша хорошо это знала, умея узнавать любовные шашни мужа с каким-то особенным искусством, — имеет любовницу, эту "подлую" Варвару, бывшую ее же горничной, и, конечно, тратит на нее деньги, а вот несчастный мальчик, сын его, уходит в плавание на три года, а отец не подумал даже об его нуждах.

"Он просто ненавидит Сережу!" — решила адмиральша и сквозь слезы глядела на румяного и здорового юношу с сожалением и скорбью.

— И пусть не прощается... Пусть злится! — говорила теперь адмиральша сыну. — Ты не сокрушайся об этом, мой мальчик... Он потом

одумается и простит тебя. Не преступник же ты в самом деле?

В этот канун ухода Сережи в плавание семья адмирала сидела за обедом грустная и подавленная. Отсутствие за столом опального младшего Ветлугина накануне долгой разлуки легло на всех мрачной тенью. Все сидели молча, потупив глаза. Адмиральша то и дело вздыхала и подносила надушенный платок к своим раскрасневшимся от слез глазам. Даже Никандр был суровее обыкновенного и своим отчаянно-мрачным видом напоминал добросовестного участника похоронной процессии.

Грозный адмирал не удостоивал обратить внимание на это всеобщее уныние и, словно в пику всем, был в отличном расположении духа. Он не поводил плечами, не крякал и, к общему удивлению, не обругал явившегося к обеду блестящего Леонида за его письмо с просьбой вперед жалованья. Он только при виде Леонида заметил:

— Пожаловал наконец?

Как и всегда, адмирал ел с большим аппетитом, во время обеда не проронил ни слова и, казалось, ни на кого не глядел. Но Анна, хо-

рошо изучившая отца и наблюдавшая за ним с тревогой в сердце за брата, совсем неожиданно перехватила добрый взгляд отца, брошенный на нее и тотчас же хмуро отведенный, и в ту же минуту почему-то решила (хотя и не могла бы объяснить: почему?), что отец простил Сережу и непременно позовет к себе.

И вся она внезапно просветлела. В ее больших добрых серых глазах лучилась радостная улыбка.

Словно бы понимая ее мысли и причину этой перемены настроения, грозный адмирал кинул ей, вставая из-за стола:

— Зайди ко мне!

Анна поняла, зачем он ее зовет, и, радостная и счастливая, без обычной робости, вошла в кабинет вслед за адмиралом.

Адмирал подошел к письменному столу и, выдвигая ящик, спросил:

— Деньги нужны?

— Вы, папенька, недавно подарили мне сто рублей.

— А их нет? Отдала своему любимцу?

Смущенная Анна отвечала, что отдала.

— То-то. Вот возьми! — продолжал своим обычным резким тоном адмирал, подавая сторублевую бумажку. — Не транжирь... пригодятся! Не благодари... не люблю! — остановил он Анну, открывшую было рот. — И без того понимаю людей! — прибавил грозный адмирал и совершенно неожиданно для Анны потрепал ее по щеке своей сухой морщинистой рукой. — Постой! Отдай матери!

С этими словами Ветлугин достал из ящичка толстую пачку и вручил ее Анне.

— Небось намотали на этого сумасброда? Глаза выплакали? Распустили нюни? Глупо! Ему же в пользу... Ну, ступай, да пошли сюда Сергея. Он там у вас прячется... знаю!

У адмиральши на половине все были в тревожном ожидании и, когда увидели на пороге радостное лицо Анны, все облегченно вздохнули, предчувствуя хорошие вести.

— Иди, Сережа, к папеньке. Он зовет тебя! — проговорила Анна, бросаясь на шею к брату.

— Только умоляю тебя, Сережа... будь благодарен! — взволнованно промолвила адмиральша, готовая всплакнуть, на этот раз от

радости. — Не забывай, что ты виноват, и проси прощения...

— Смотри, не надуй, Сережа! — напутствовали его братья. — Из-за тебя всем нам попадет!

Слегка побледневший от волнения, Сережа быстро направился к отцовскому кабинету и постучал в затворенные двери.

— Входи! — раздался голос адмирала.

## XI

Войдя в кабинет, Сережа остановился у порога.

— Здравствуй, Сергей! — произнес адмирал, поднимая голову и пристально взглядывая на взволнованного юношу.

Он в первый раз вместо "Сережи" называл сына "Сергеем" и этой новой кличкой как бы производил его в чин взрослого.

— Здравствуйте, папенька! — ответил, кланяясь, Сережа и не двигался с места, ожидая отцовского зова.

— Двери! — возвысил голос старик.

И когда Сережа торопливо запер за собой двери, адмирал проговорил:

— Подойди-ка поближе, смельчак!

— Простите меня, папенька, — начал было Сережа чуть-чуть дрогнувшим голосом, приближаясь к отцу.

Но адмирал сердито крякнул и повелительным жестом руки остановил Сережу. Этот жест красноречиво говорил, что адмирал не желает никаких объяснений.

— Смел очень! — кинул он, когда Сережа приблизился. — Помни: не всегда смелость города берет, особенно на службе. Можно и головы не сносить!

И вслед за этими словами адмирал протянул свою костлявую руку.

Сережа нагнулся, чтобы поцеловать, но адмирал быстро ее отдернул, затем снова протянул и крепко пожал Сережину руку.

Этим пожатием адмирал, казалось, не только прощал сына, но и выражал, как справедливый человек, невольное уважение к юному "смельчаку", не побоявшемуся защитить свое человеческое достоинство. И Сережа, тронутый безмолвным прощением, без упреков и угроз, которых ожидал, почувствовал, что с этой минуты между отцом и ним

устанавливаются новые отношения и что он, в глазах грозного старика, уже не прежний "щенок". Он понял, как трудно было такому человеку, как Ветлугин, перенести и простить его смелую и дерзкую выходку. А между тем в неприветном, по-видимому, взгляде этих серых, холодных глаз Сережа, никогда не знавший никакой ласки вечно сурового отца, инстинктивно угадывал отцовское, тщательно скрываемое чувство. И это еще более умилило Сережу.

— Когда снимаетесь? — спрашивал адмирал, взглядывая на своего Вениамина и втайне любуясь его открытым и смелым лицом.

— Завтра, в три часа дня.

— Конечно, под парами уйдете? — с презрительной гримасой продолжал Ветлугин. — А я так на стопушечном корабле в ворота Купеческой гавани в Кронштадте под парусами входил... И ничего... не били судов... А тебе "самоварником" придется быть... По крайней мере спокойно! — язвительно прибавил адмирал.

— Мы большую часть плавания будем под парусами ходить! — обиженно заметил Сере-

жа, заступаясь за честь своего корвета.

— А чуть опасные места или в порт входить... дымить будете? Ну, что делать... Дымите себе, дымите!.. Ночуешь на корвете?

— На корвете. С шестичасовым пароходом уезжаю в Кронштадт!

Адмирал, никогда в жизни никуда не опаздывавший и всегда торопивший своих домашних, имевших несчастье куда-нибудь с ним отправляться, взглянул на часы.

— Еще час с четвертью времени! — заметил он. — Ничего с собой не берешь?

— Все на корвете.

— А часов у тебя нет?

— Нет.

— Вот возьми... верные. Сам выверял! Пять секунд ухода в сутки, знай! — говорил адмирал, подавая Сереже серебряные глухие часы с такой же цепочкой, купленные им для сына еще неделю тому назад. — Смотри, заводи в определенное время! — прибавил он строго.

Сережа поблагодарил и надел часы.

После минутного молчания адмирал значительно произнес:

— Слушай, Сергей! Мое желание, чтобы ты

служил во флоте. Твои отец, дед и прадед — моряки. Пусть же старший и младший из моих сыновей сохраняют во флоте имя Ветлугиных! Из тебя может выйти бравый моряк... Ты смел и находчив... Поплавай... приучись... Увидишь, что морская служба хорошая. Ты полюбишь ее и не бросишь, чтобы сделаться статской сорокой или каким-нибудь пустым шаркуном... Для того я и просил министра назначить тебя в плавание.

Сереза молчал, но решимость его исполнить свой "план" не поколебалась после слов адмирала. Он все-таки будет "сорокой", не сделавшись, конечно, "пустым шаркуном". Но грозный адмирал, моряк до мозга костей, был уверен, что Сереза полюбит море и службу и пойдет по стопам отца, и, разумеется, не предвидел в эти минуты своих будущих разочарований и бессильного старческого гнева, когда сын настоит на отставке и, к изумлению отца, откажется от всякой служебной карьеры.

— Уверен, Сергей, — продолжал Ветлугин, и голос его звучал торжественно строго, — что ты будешь честно служить отечеству и престолу. Твой отец ни у кого не искал, ни пе-

ред кем не кланялся, а тянул лямку по совести, исполняя свой долг. Ни казны, ни матроса не обкрадывал. Есть такие негодяи... У меня, кроме жалованья да деревушки от покойного батюшки, ничего нет! — гордо прибавил адмирал.

Сережа жадно ловил эти слова, и радостное, горделивое чувство за отца сияло на лице сына.

— Будь справедлив... Не лицеприятствуй... Не вреди товарищам. Будь строг, но без вины матросов не наказывай, заботься о них... не позволяй их обкрадывать. Я был в свое время строг, очень даже строг по службе... тогда пощады не давали. Но, во всяком случае, не будь жесток с матросами, чтобы тебе не пришлось потом прибегать к беспощадным мерам, к каким однажды пришлось прибегнуть мне... Избави тебя бог от этого!

Сережа смутно слышал о чем-то ужасном, бывшем в жизни отца, но что именно было, никто из домашних не знал, и Ветлугин никогда об этом не говорил. И юноша замер в страхе ожидания чего-то страшного. Он и хотел знать истину, и боялся ее.

Грозный адмирал смолк и задумался. Точно какая-то тень внезапно пронеслась над ним и омрачила его суровое, непреклонное лицо. И он, опустив голову, несколько времени пребывал в безмолвии, словно бы переживал в эту минуту давно забытый эпизод из далекого прошлого, воспоминание о котором даже и в таком железном человеке, как Ветлугин, по-видимому, вызывало тяжелое впечатление.

Наконец он поднял голову и сказал:

— Все равно, ты впоследствии услышишь. Так лучше узнай от меня.

Грозный адмирал сердито крикнул и начал:

— В двадцать третьем году я был послан в дальний вояж[2] на шлюпе[3] "Отважном" как один из лучших капитанов... Тогда ведь в дальний вояж ходили очень редко, и попасть в такое плавание было большой честью... Когда я имел стоянку в Гавр-де-Грасе, ночью на шлюпе вдруг вспыхнул бунт... Меня чуть не убили интрипелем[4]... Я положил на месте злодея и пригрозил стрелять картечью из орудия... Бунт был подавлен в самом начале...

Затем...

Старик на секунду остановился и еще мрачнее и суровее, словно то, что он станет рассказывать, было самое худшее, — продолжал, понижая голос:

— ...Затем я немедленно снялся с якоря, вышел в океан и повесил двух главных зачинщиков на ноках[5] грот-марса-реи[6]. К рассвету я вернулся в Гавр принимать провизию...

Ветлугин смолк. Сережа был бледней рубашки. Он понял, почему у отца был бунт, и с невольным ужасом глядел на старика.

— Необходимо было! — прибавил, словно бы оправдывая этот поступок мести, грозный адмирал, поднимая на бледного потрясенного юношу глаза и тотчас же отводя их.

У Сережи подступали к горлу слезы. Его возмущенное сердце отказывалось приискать оправдание. Он не мог понять, что "необходимо было" повесить двух человек за свою же вину и после того, как уж бунт был прекращен. Разнородные чувства наполняли его потрясенную душу: негодование и ужас, любовь и жалость к отцу, на совести которого лежит

ужасное воспоминание.

— Теперь другие времена, другие порядки! — заговорил после молчания грозный адмирал. — Хотят без телесных наказаний выучить матроса, сохранить дисциплину и морской дух. Что ж? Попробуйте. Быть может, и удастся, хотя сомневаюсь.

— Наш капитан не сомневается, папенька! — взволнованно и горячо возразил Сережа. — У нас на корвете совсем не будет линьков.

— Не будет? Но распоряжения еще нет? Телесные наказания еще не отменены!

— Все равно... капитан не хочет их... И он отдал приказ, чтобы никто не смел бить матросов, и просил офицеров, чтобы они не ругались...

— И не ругались? — усмехнулся адмирал.

— Да, папенька... Наш капитан превосходный человек.

— Ну и поздравляю твоего капитана! — иронически воскликнул старик и нахмурил брови.

Вслед за тем адмирал поднялся с кресла и, подавая Сереже двадцать пять рублей, прого-

ворил с обычной суровостью:

— Вот тебе на дорогу... Не мотай... Помни: я не кую денег. Рассчитывай на себя и бойся долгов... В портах, смотри, будь осторожнее... Всякие дамы там есть... Остерегайся... Ну, прощай... Служи хорошо... Раз в месяц пиши, как это вы, умники, без наказаний будете плавать с вашим капитаном и содержать в должном порядке военное судно! — язвительно прибавил старик. — Мать, братья и сестры тебя завтра проводят, а я в Кронштадт не поеду... Нечего мне смотреть на ваш корвет. Я привык видеть суда в щегольском порядке, а у вас, воображаю, порядок?! От одного угля сколько пыли?! Чай, чухонская лайба, а не военное судно?!

Сережа хотел было возразить, что их корвет в отличном порядке и нисколько не похож на лайбу, но адмирал, видимо, не желал слушать и сказал, протягивая руку:

— Ну, будь здоров. Ступай! Не опоздай, смотри, на корвет!

И, крепко пожав Сережину руку, он направился в спальню, чтобы, по обыкновению, отдохнуть час после обеда.

Таково было прощание грозного адмирала с сыном перед трехлетней разлукой.

## XII

— Ну, что? Как он тебя простил, Сережа? Как все было? Рассказывай, рассказывай по порядку. Ну, ты вошел к нему в кабинет... А он что?

Таковыми словами встретила Сережу адмиральша, горевшая любопытством и очень любившая, чтобы ей все рассказывали с мелочными подробностями и с чувством.

Но Сережа, грустный и задумчивый, еще не освободившийся от первого впечатления, вызванного отцовским признанием, должен был разочаровать адмиральшу. Прощение произошло почти без слов. Никаких трогательных сцен не было.

— И отец не бранил тебя? Не упрекал? — удивлялась мать.

— Нет, маменька.

— О чем же вы так долго говорили?

— Отец давал советы насчет службы!..

— А денег дал?

— Дал и подарил часы.

— Ну и слава богу, что все так кончилось!.. Я, впрочем, предвидела...

— Напротив, маменька, вы говорили, что папенька не простит! — снова съязвила красивая Вера.

— Вера! Выведешь ты меня из терпения, гадкая девчонка! — вспылила адмиральша.

— Вера! Как можно раздражать маман? — вступился Гриша.

— Ну, ты... просвирки... Пожалуйста, без замечаний! — огрызнулась Вера и ушла.

Об отцовском признании Сережа матери не сказал ни слова, но, оставшись наедине с Анной, в ее комнате, он все рассказал сестре и, окончив рассказ, воскликнул:

— Ах, Нюта, голубчик... Ведь это ужасно... И как тяжело за отца!

— Ему, верно, еще тяжелее! — ответила потрясенная рассказом Анна. Но не нам судить папеньку, Сережа. Пусть его судят другие! — внушительно и серьезно прибавила кроткая девушка.

В тот же вечер Сережа уехал в Кронштадт. На следующее утро вся семья адмирала приехала провожать Сережу на корвет. При про-

щании адмиральша дала волю слезам и возвратилась домой совсем расстроенная.

В тот же вечер адмирал спрашивал Анну:

— С кем Сергей помещен в каюте?

— С мичманом Лопатиным.

— Ну, что, молодцом он?.. Не раскисал?..

— Нет, папенька...

— То-то!.. — одобрительно заметил адмирал.

Когда на следующий день Ветлугин увидал за обедом, что жена его вытирает слезы, он сурово заметил:

— Все еще нюнишь?.. О Сергее нечего нюнить... Лучше поплачь о своем балбесе Леониде...

Адмиральша вопросительно взглянула на мужа.

— Да, о нем лучше пореви! Этот негодяй в долгу как в шелку. Утром ко мне приходили на него жаловаться... Не платит долгов... Я ни копейки не заплачу. Слышишь? — грозно крикнул старик. — Пусть лучше этот подлец пулю в лоб себе пустит! Так и скажи ему!

### XIII

По субботам адмирал неизменно обедал в Английском клубе и оставался там часу до двенадцатого, играя в вист или в преферанс. Он любил игру и играл превосходно, не прижимисто, а, напротив, рискованно, но по большой не садился. "Шальных денег для этого у меня нет!" — замечал адмирал. Азартных игр Ветлугин не мог терпеть и строго наказывал сыновьям никогда в них не играть.

— В банк играют только дураки или негодяи, — часто говаривал он.

По вечерам в эти субботы, когда адмирал отсутствовал и в доме все чувствовали облегчение, к общительной и гостеприимной адмиральше приходили гости, преимущественно товарищи сыновей, молодые люди, которых притягивала красивая Вера, блондинка с пепельными волосами и черными насмешливыми глазами. Она умела очаровывать и играть людьми, эта холодная и эгоистическая девушка, но сама не увлекалась. Кокетничая со своими поклонниками, она втайне мечтала о приличной партии, по рассудку, и возму-

щала старшую свою сестру Анну и своим бессердечным кокетством, и своими слишком практическими взглядами на брак.

И адмиральша с дочерьми и их гости бывали до крайности смущены и испуганы, когда адмирал совсем неожиданно появлялся на половине адмиральши, в ее маленькой красной гостиной, после одиннадцати часов, возвратившись из клуба. Не обращая никакого внимания на гостей и еле кивая головой на их усиленно почтительные поклоны, адмирал начинал тушить лампы, и засидевшиеся гости торопливо и смущенно прощались и уходили при общем тяжелом молчании.

— Довольно, наболтались. Спать пора! — сердито говорил адмирал и удалялся, пожимая гневно плечами.

Адмиральша благоразумно молчала в таких случаях.

Иногда, заметив покрасневшее и оживленное лицо красивой Веры, он останавливал на мгновение взгляд на дочери и презрительно кидал ей:

— Не очень-то виляй хвостом с мужчинами, принцесса! Замочишь! Ишь расфуфыри-

лась, фуфыра!.. Неприлично!..

Подобные внезапные посещения бывали, впрочем, весьма редки и всегда лишь после проигрыша в клубе. Проигрыш свыше десяти рублей приводил адмирала в дурное расположение духа, и Никандр, знавший уже по неистовому звонку, что адмирал возвращается с проигрышем, стремглав бежал отворять двери и становился мрачней, в ожидании какой-нибудь гневной придирки. Обыкновенно же адмирал делал вид, что не знает о гостях адмиральши, и, возвратившись из клуба, прямо шел к себе, раздевался и тотчас же засыпал, как убитый.

С своей стороны и адмиральша, любившая посидеть с гостями, принимала меры против неожиданных появлений адмирала, разгневшего так грубо ее знакомых. Приезда адмирала из клуба стерегли, и, как только раздавался его звонок, в гостиной адмиральши уменьшали огонь в лампе и все затихали, пока Никандр не сообщал кому-нибудь из молодых Ветлугиных, что адмирал разделся и лег почитать.

В одну из суббот Ветлугин возвратился из

клуба мрачнее ночи. Против обыкновения, он не тотчас же лег спать. Облачившись в свой китайчатый халат, адмирал несколько времени ходил по кабинету, опустив голову, вздрагивая по временам точно от жестокой боли и судорожно сжимая кулаки. Губы его что-то шептали. Он присел затем к столу, написал своим крупным стариковским почерком телеграмму, сделав в десяти словах три грамматические ошибки, и, кликнув Никандра, стоявшего в страхе за дверями, велел немедленно ее отнести.

Когда, минут через двадцать, Никандр вернулся, в кабинете еще был огонь. Старый камердинер осторожно приотворил двери и застал адмирала сидящим в кресле перед письменным столом. Лицо его было неподвижно-сурово, и взгляд серых стальных глаз спокойно-жесток. Таким Никандр давно уже не видал своего барина и понял, что случилось что-то особенное с Леонидом Алексеичем. Телеграмма была адресована к нему в Царское село.

Никандр положил на стол телеграфную квитанцию и сдачу.

— Барыня не спит? — спросил адмирал.

— Изволят ложиться.

— Меня не жди... Ступай!

Но Никандр, заперев двери, не ушел спать, а оставался в столовой, в глубокой темноте. Удалился он лишь тогда, когда огонь в кабинете исчез и из спальни донесся кашель.

Гости адмиральши разошлись, как только Никандр доложил Анне, что барин очень сердит и посылает телеграмму Леониду Алексеичу. Анна прочла телеграмму. В ней адмирал вызывал сына с первым поездом.

Эта телеграмма встревожила Анну. Отец почти никогда не посылал телеграмм и вообще не любил их, находя, что депеши большею частью сообщают такие глупости, которые можно сообщить и в письме.

"Значит, случилось что-нибудь важное!" — решила Анна.

И страх за брата омрачил ее лицо и сделал ее лучистые глаза грустными.

"Каких натворил еще глупостей этот беспутный, легкомысленный Леонид? Опять приходил какой-нибудь кредитор, или отец узнал, что брат кутит и играет в банк? Тогда

отец, наверное, исполнит свою угрозу — переведет Леонида в армию, на Кавказ, и там, в глуши, бедный бесхарактерный брат может совсем пропасть... Это было бы ужасно! И сколько раз его предупреждали: и мать и она! И сколько раз он, весело смеясь, давал им слово, что перестанет кутить. Вот теперь и будет история!"

Так раздумывала Анна, всегда близко к сердцу принимавшая всякие домашние неурядицы и горячо любившая всех членов семьи. Она жалела беспутного брата, возбужденного, как видно, серьезный гнев отца, представляла себе ужасную сцену в кабинете и придумывала, чем бы ей помочь Леониду и как бы предотвратить грозу. Но ничего она придумать не могла, и решила только завтра же, как придет брат, отдать ему свои сто рублей.

Не желая огорчать теперь же мать, Анна не сказала ей о телеграмме к ее любимцу, и адмиральша, после ухода гостей, раздевалась при помощи молодой и миловидной горничной Насти, веселая и довольная после приятно проведенного вечера. Еще бы! Сегодня

один из гостей, известный молодой юрист и немножко литератор, рассказал ей две необыкновенные романические истории и притом рассказал превосходно: со всеми подробностями и драматическими перипетиями и трагической развязкой одной истории, заставившей адмиральшу несколько раз подносить батистовый платок к глазам.

Даже сообщенное известие, что адмирал вернулся из клуба сердитый, не испортило отличного расположения духа адмиральши.

"Верно, проиграл, потому и сердитый!" — заключила она, продолжая вспоминать романические истории и рассчитывая завтра же рассказать их своей приятельнице, адмиральше Дубасовой, такой же охотнице до них, как и сама адмиральша.

Когда Анна зашла к матери в спальню проститься, адмиральша спросила ее по-французски:

— Ты как думаешь, Анюта... Ивин рассказывал действительные происшествия или сочинил их?

— А бог его знает!

— Во всяком случае, необыкновенно инте-

ресно, если даже и сочинил... Ведь все это могло быть... И он уверяет, что было...

— Значит, было...

— Но он не хотел назвать фамилий героев и героинь... И, наконец, я слышала бы об этой истории... Сдается мне, что Ивин сочинил все... Но как прелестно он говорит, Анюта!.. И вообще он очень интересен... А бедный Чернов, заметила, Анюта?

— Что, маменька?

— У него на лице что-то фатальное... страдальческое... Совсем влюблен в Веру... Вот увидишь, на днях он придет делать предложение.

— И сделает глупость! — с живостью промолвила, невольно краснея, Анна.

— Глупость?

— Еще бы! Ведь Вера не пойдет за него.

— Это почему? Чернов такой милый и порядочный молодой человек... И из хорошей семьи. И Вера сегодня была с ним особенно любезна.

— Она любит со всеми кокетничать, наша Вера, но ее сердце спокойно, и едва ли она считает Чернова достойным быть ее супру-

гом! — промолвила, по-видимому спокойно, Анна.

Но голос ее дрогнул. Этот разговор задел больную струну ее горячего сердца. Она сама давно уже втайне питала любовь к Чернову, влюбленному в ее сестру.

— Ну и дура эта Вера! Принца ей, что ли, надо, чтобы влюбиться? воскликнула адмиральша.

Анна не сочла нужным объяснить, что холодной и практической Вере нужна "блестящая партия", то есть муж с положением и большими средствами, и что сильно любить она не способна. Анна промолчала и, простившись с матерью, медленно вышла из комнаты, оставив адмиральшу в неприятном недоумении, точно перед совершенно неожиданной развязкой романа. Дело в том, что с некоторого времени адмиральша задалась мыслью соединить два любящие сердца, уверенная, что Вере Чернов очень нравится. Что Чернов влюблен, в этом не было сомнения. Оставалось только сделать предложение. Отец, наверное, согласился бы на этот брак. Он, видимо, благоволил к молодому капи-

тан-лейтенанту, пользовавшемуся репутацией образованного и блестящего моряка и уже назначенному, несмотря на свои двадцать шесть лет, командиром клипера. И вдруг все эти ее планы должны были рушиться. Анна, кажется, права.

"Глупая, холодная девчонка!" — подумала адмиральша и отпустила спать свою милую, с вздернутым задорно носом, Настю, на которую уж адмирал в последнее время начинал пристально заглядываться и раз даже, встретив Настю в коридоре и любуясь ее "товаром" с видом опытного знатока, взял ее за подбородок и как-то особенно крикнул.

## XIV

Никандр только что помолился и собирался лечь спать в своей тесной каморке, рядом с кухней, как вдруг среди тишины, нарушаемой лишь по временам храпом повара Лариона, на кухне звякнул чей-то нетерпеливый звонок.

Никандр, со свечой в руке, пошел отворять двери и был изумлен, увидав перед собой Леонида Ветлугина. Он был, видимо, смущен и расстроен, этот блестящий красавец, высокий и статный блондин с большими черными, несколько наглыми, глазами, сводивший с ума немало женщин своею ослепительною красотой. Всегда веселый и смеющийся, он был теперь подавлен.

— Отец спит? — спросил он, входя на кухню.

— Недавно легли. Теперь, верно, почивают, Леонид Алексеич! — отвечал Никандр с какою-то особенной почтительной нежностью.

— А маменька?

— Барыня, верно, еще не спят...

— Ну, и отлично... Мне надо маменьку видеть.

— Пожалуйста... Я вам посвечу... Только дозвоьте сюртук надеть...

Через минуту Никандр вернулся из каморки и сказал:

— А вам, Леонид Алексеич, барин час тому назад телеграмму послали.

— Телеграмму?

— Точно так-с... Просят завтра с первым поездом пожаловать.

Леонид как-то весь съежился и прошептал:

— Узнал уж?.. Ну, да все равно... Что, он очень сердит?

— Сердитые вернулись из клуба... и не сразу легли... В очень угрюмой задумчивости сидели... Да что такое случилось, Леонид Алексеич?

— Скверные, брат Никандр, дела!

— Бог даст, лучше будут, Леонид Алексеич!.. А я вот к вам с покорнейшей просьбой... Не откажите, Леонид Алексеич!.. — прибавил Никандр с почтительным поклоном.

— Какая просьба, Никандр?.. — удивился молодой Ветлугин.

— Быть может, вы временно в денежном затруднении-с, Леонид Алексеич... Так удостоите принять от слуги... Разживетесь, отдадите... У меня есть четыреста рублей... Скопил-с за время службы в вашем доме...

Леонид был обрадован.

— Спасибо, голубчик Никандр. Деньги мне до зарезу нужны... И завтра непременно, иначе беда... Я затем и к маменьке приехал... Мне много денег нужно... Попрошу ее где-нибудь достать... И у тебя возьму... Скоро возвращу...

— Об этом не извольте беспокоиться... Как будете от маменьки возвращаться, я вам их приготовлю... Искренне признателен, что приняли... и дай вам бог из беды выпутаться, Леонид Алексеич! — горячо проговорил Никандр.

— Беды-то много, Никандр... Много, братец!

Когда адмиральша увидела в этот поздний час своего любимца Леню, бледного и убитого, сердце матери екнуло от страха.

— Спасите, маменька! — проговорил Леонид.

И он стал объяснять, что ему нужно завтра же тысячу двести рублей: иначе он может по-

пасть под суд.

— Ах, Леня, — произнесла только адмиральша и залилась слезами.

— Маменька! Слезы не помогут. Можете ли вы меня спасти? И без того мне плохо... Я должен выйти из полка и уже подал в отставку.

— В отставку?.. За что?..

— За что?.. За долги... На меня жаловались!.. — как-то неопределенно отвечал Леонид.

— Но что скажет отец?

— Что скажет? Он уже знает и завтра приказал явиться. Будет ругаться, как матрос, я знаю, и прикажет не являться на глаза. Так разве можно служить в нашем полку на жалованье да с теми несчастными сорока рублями в месяц, которые он мне давал?.. Посудите сами... К чему же отец разрешил мне служить в кавалерии?.. Ну, я и наделал долгов, думал попытать счастья в игре, не повезло, и у меня на шее пятнадцать тысяч долга.

Адмиральша ахнула при этой цифре.

— Кто ж их заплатит?..

— Разумеется, не отец... Он ведь предпочтет видеть меня скорей в гробу, чем запла-

тить за сына. Скарעד он... Но у меня есть выход... Я женюсь на богатой.

— На ком?

— На одной вдове... купчихе... И старше меня.

— Фи, Леня! Купчиха! Какой mauvais genre...[7] Ветлугин — на купчихе! Отец не позволит!

— Разбирать нечего, маменька. Или пулю в лоб, или женитьба. Я предпочитаю последнее... Позволит ли отец, или нет, мне теперь все равно... Мне надо выпутаться... Но пока я еще не богат, выручите меня. Понимаете ли, мне нужно тысячу двести рублей не позже завтрашнего дня... Я бросался повсюду и наконец приехал к вам. На вас, маменька, последняя надежда... Дайте ваш фермуар[8], я его заложу... После свадьбы выкуплю.

— Леня, голубчик. А если отец узнает?

— Отец узнает? Что ж, вам лучше видеть меня под судом за растрату?

— Что ты, что ты, Леня?.. Как тебе не стыдно так говорить? Бери фермуар, если он может спасти тебя от позора, мой мальчик!

Сын бросился целовать руки матери и че-

рез четверть часа ушел, оставив мать в смятении и горе.

Никандр проводил молодого Ветлугина и почтительно вручил ему все свои сбережения.

— Завтра буду в одиннадцать часов! — проговорил Леонид, уходя.

— Слушаю-с, Леонид Алексеич... Быть может, папенька за ночь и "отойдут"! — прибавил Никандр, желая подбодрить молодого Ветлугина.

Но эти ободряющие слова не утешили Леонида. Он с каким-то тупым страхом виноватого животного думал о завтрашнем объяснении с грозным адмиралом.

## XV

За ночь адмирал "не отошел" и вышел к кофе мрачный и суровый. Выражение какой-то спокойной жестокости не сходило с его лица.

Отправляясь на обычную прогулку, адмирал сказал Никандру:

— Если без меня придет Леонид Алексич — пусть подождет.

Он вернулся ранее обыкновенного и тотчас же спросил:

— Он здесь?

— Никак нет. Еще не приезжали!

Все в доме уже знали, что с Леонидом случилась большая беда и что он выходит из полка. Адмиральша с трепетом ожидала свидания Леонида с отцом. Анна не смыкала всю ночь глаз и теперь сидела у себя в комнате, печальная, предчувствуя нечто страшное. Она знала непомерное самолюбие отца и понимала, как должен быть он оскорблен и отставкой сына и, главное, этой невозможной, позорной женитьбой. Одна только Вера, по видимому, довольно равнодушно относилась

ко всей этой истории и думала, что жениться на богатой купчихе далеко не преступление.

Наконец, в одиннадцать часов приехал Леонид. Он был в своем блестящем мундире очень красив. Лицо его, бледное и взволнованное, выражало испуг. Глаза глядели растерянно.

— Ну, докладывай, Никандр, — проговорил он и хотел было улыбнуться, но вместо улыбки лицо его как-то болезненно искривилось.

Через минуту он входил в кабинет. Адмиральша в слезах послала ему из столовой благословение. Мрачный Никандр перекрестился.

При виде этого красавца сына адмирал вздрогнул и побледнел. Ненавистью и презрением дышало его жестокое лицо.

Он не обратил внимания на поклон сына и сказал:

— Затвори двери на ключ!

Когда Леонид затворил, адмирал глухим голосом, точно что-то перехватывало ему горло, продолжал:

— Подойди ближе.

Леонид приблизился.

— Остановись и отвечай на вопросы.

Он примолк на минуту и спросил:

— Правда, что тебя выгоняют из полка за долги?

— Правда, папенька.

— Только за это?

— За это.

— Лжешь, подлец! Вчера мне все рассказал твой полковой командир.

Леонид в ужасе замер.

Адмирал продолжал допрос.

— Правда ли, что ты, носящий фамилию Ветлугина, взял деньги у бедной швеи, с которой был в связи, и не отдал ей денег, так что она принуждена была жаловаться командиру полка?

— Правда, — чуть слышно прошептал Леонид.

— Правда ли, что ты дал подложный вексель, подписанный чужим именем?

— Правда! — прошептал Леонид. — Но я уплатил по этому векселю.

— Правда ли, наконец, что ты собираешься жениться на богатой вдове купца Поликарпова, бывшей содержанке князя Андросова?

— Да! — отвечал бледный как смерть Леонид.

— И после всего этого ты еще живешь на свете, — ты, опозоривший честное имя Ветлугиных? — продолжал адмирал хриплым шепотом.

Леонид молчал в тупом отчаянии.

— Послушай... Мертвые срама не имут. Если ты боишься, я тебе помогу... Хочешь? Пиши записку, что ты застрелился... Смерть лучше позорной жизни... Пистолет у меня есть...

Адмирал проговорил эти слова с ужасающим спокойствием, и в тоне его голоса как будто даже звучала примирительная нота.

Панический страх обуял Леонида при этом жестоком предложении. Он бросился к ногам отца и стал молить о пощаде.

Тогда произошла ужасная сцена. Адмирал моментально превратился в бешеного зверя.

— Так ты не хочешь, подлец?! — заревел он и, вскочив с кресла, стал топтать ногами распростертого сына.

И когда тот, наконец, поднялся, адмирал начал бить кулаками красивое, когда-то счастливое, смеющееся лицо Леонида. Его ту-

пая, безответная покорность, казалось, усиливала ярость адмирала. Он был невыразимо отвратителен в эти минуты, этот деспот-зверь, не знавший пощады.

Отчаянный стук Анны в двери несколько отрезвил бешеного адмирала.

— Гадина!! Ты мне больше не сын! — крикнул он, задыхаясь.

— А вы мне больше не отец! — в каком-то отчаянии позора отвечал Леонид и выбежал из комнаты, избитый и окровавленный.

Анна рыдала, а бедная мать была в истерике.

---

С тех пор имя Леонида Ветлугина никогда не упоминалось при адмирале. Его как будто не существовало.

Он женился на бывшей содержанке, уехал с ней за границу, года в два промотал женино состояние и, вернувшись один в Россию, жил где-то в глуши. Мать и Анна тайком от отца помогали ему. Вскоре Леонид заболел чахоткой и, почти умирающий, написал отцу письмо с просьбой о прощении, но адмирал не ответил на письмо сына.

Месяцев шесть спустя, адмиральша однажды пришла к мужу и, рыдая, сказала, что Леонид скончался.

— И слава богу! — сурово промолвил отец.

## XVI

Старый адмирал, недовольно и скептически относившийся к освободительному движению шестидесятых годов, грозившему, по его мнению, разными бедами, в то же время, по какому-то странному противоречию, не смотрел неприязненно, по примеру большинства помещиков, на крестьянскую реформу. Твердо веровавший в дворянские традиции, считавший "благородство происхождения" необходимым качеством порядочного человека, гордившийся древностью дворянского рода, Ветлугин никогда не был завзятым крепостником и, как помещик, был довольно милостивый и, по тем временам, даже представлял исключение.

Он отдал в пользование всю помещичью землю крестьянам и брал с них самый незначительный оброк, причем часто прощал недоимки, если староста, выбранный самими

же крестьянами, представлял резонные к тому доводы, так что крестьянам Ветлугина, знавшим о грозном барине только по наслышке, от тех односельцев, которые служили у адмирала в доме, — жилось спокойно и хорошо. Барина своего они почти не видали — усадьбы господской не было в имении — и только в последнее время, когда адмирал перешел из Черного моря на службу в Петербург и приезжал иногда по летам погостить к младшему своему брату в Смоленскую губернию, он заглядывал в свои Починки на час, на два, встречаемый торжественно всей деревней.

Отношения между бариним и его вотчиной обыкновенно ограничивались лишь тем, что раз в год, в ноябре месяце, староста Аким, умный и степенный старик, уважаемый своими односельцами и крепко преданный интересам деревни, отсылал "сиятельному адмиралу и кавалеру", как значилось на конверте, изрядную пачку засаленных бумажек при письме, писанном каким-нибудь грамотеем под диктовку Акима. В этих письмах подробно сообщалось о всех событиях и выдающихся

ся случаях, бывших в течение года: о рождениях и смерти, браках, очередных рекрутах, об урожае или недороде, о пожарах, падежах и т. п. Письма всегда были строго деловые, без всяких изъявлений чувств, ибо адмирал раз навсегда приказал "подобных пустяков" не писать. Адмирал немедленно же отвечал старосте о получении денег в самой лаконической форме. Иногда только в его ответных письмах прибавлялось приказание: выслать к такому-то времени на подводе с надежным человеком "расторопного мальчишку" или "девку" лет пятнадцати для службы в адмиральском доме. Относительно "девки" адмирал всегда давал некоторые пояснения, выраженные в кратких словах, а именно, чтобы выслали "почище лицом, здорового сложения, не рябую и не корявую". Приметы эти заканчивались строгим наказом своеобразного эстетика адмирала: "Тощей, безобразной и придурковатой девки отнюдь не высылать".

Надо, впрочем, сказать, что приказания о высылке "расторопных" мальчишек и "девок почище лицом" посылались не очень часто, так как штат крепостной прислуги в адми-

ральском доме был, для крепостного времени, не особенно велик. Во время службы адмирала в Черном море из мужской прислуги крепостными были камердинер Никандр, кучер да казачок. Обязанности лакея адмиральши и повара исполняли обыкновенно денщики из матросов. Долгое время в поварах у адмирала жил один поляк Франц из арестантских рот, особенно любимый адмиралом за его мастерское знание своего дела. И, несмотря на то, что этот Франц был отчаянный картежник и пьяница и притом буйный во хмелю, часто пугавший адмиральшу своим видом, — адмирал все-таки держал Франца, хотя и нередко приказывал "спустить ему шкуру". Бесшабашный повар всегда, бывало, грозил большим кухонным ножом тому, кто подступится к нему для исполнения адмиральского повеления, и когда, наконец, несколько человек матросов связывали его и приводили на конюшню, он и под жестокими ударами розог кричал, что не боится "пана-адмирала", что покажет ему себя, и при этом костил адмирала всякими ругательствами. Но когда Франц вытрезвлялся, он снова становился тихим и по-

корным человеком и проводил свободное время за чтением книг, держась особняком от прочей прислуги и взирая на нее даже с некоторым высокомерием шляхтича, каким он себя называл. Во время больших званных обедов Франц всегда отличался на славу. Он в такие дни остерегался напиваться и не пускал никого к себе на кухню, работая один, без помощников в течение ночи, так что прочая прислуга пресерьезно говорила, что "поляку помогают черти". Так Франц прожил в адмиральском доме лет шесть, почти все время своего пребывания в арестантских ротах, и затем, отбыв наказание, уехал на родину, в Польшу, о которой говорил всегда с любовью и восторгом.

Женской прислуги из крепостных бывало больше. Кроме старой Аксины Петровны, вынянчившей чуть ли не все поколение молодых Ветлугиных и обязательно не любившей ни одной бонны и гувернантки, которым Аксиныя Петровна устраивала всякие каверзы, и прачки, в доме находилось несколько молодых горничных. У адмиральши было две (одна для шитья), и по одной у каждой из доче-

рей, как только последние приезжали из института. По выходе адмиральских дочерей замуж горничные эти поступали в их владение в числе приданого.

При каждом прибытии из деревни подростка девушки ее приводили на смотр адмиралу и адмиральше. Если привезенная была недурна собой, он как-то особенно выпячивал нижнюю губу и милостиво трепал по щеке оторопевшую и смущенную девушку.

— Ну, девчонка, смотри, служи хорошо! — говорил не особенно строгим тоном адмирал, приказывая Никандру отвести ее к барыне.

В таких случаях мужик, привезший девушку, получал серебряный рублевик и наказ передать старосте барское спасибо.

Но когда вновь прибывшая не отвечала почему-либо вкусам адмирала, он без всякого милостивого слова приказывал отвести ее к супруге и сердито выговаривал мужику:

— Лучше у вас в деревне девки, что ли, не было, что прислали такого одра?

— Не было, барин, не было, ваше светлейшее присходительство! Самую чистую тебе предоставили... Была у Корнея дочка, ничего,

гожа, да в рябовинках малость...

— Ступай! — резко обрывал адмирал и недовольно крякал.

Адмиральша, напротив, бывала в последнем случае довольна. Зато, чем пригожее была привезенная девушка, тем более сжималось сердце ревнивой адмиральши, предвидшей в очень близком будущем новое испытание для своей ревности и новое оскорбление своему самолюбию.

И, надо сказать правду, адмиральша редко ошибалась в своих предчувствиях.

Весьма часто, если не всегда, все эти молоденькие девушки делались жертвами похотливого адмирала. Если они готовились быть матерями, их выдавали замуж или отправляли обратно в деревню с приказом старосте: пристроить девку и прислать новую.

Таким образом адмирал женил и Никандра и кучера Якова. Никандр именно с тех пор, говорят, и сделался мрачным, и когда года через четыре овдовел, потеряв перед тем двух детей, адмиральских крестников, то не обнаружил особенного горя от этих потерь и, как огня, боялся новой женитьбы по распоряже-

нию барина. По счастью для Никандра, адмирал более не сватал своего камердинера.

Одна из таких жертв адмиральского каприза сделалась даже настоящей фавориткой влюбившегося в нее адмирала. Он нанял для нее квартиру в отдаленной Матросской слободке, отделал квартиру не без роскоши и, купив для своей фаворитки белья и платьев, переселил ее в устроенный им "приют любви", приставив к ней старую женщину, исполнявшую обязанности прислуги и в то же время аргуса. Нечего и говорить, что фаворитке строго запрещалось выходить куда-нибудь одной и принимать кого-нибудь. Эта связь была, конечно, известна всем, и многие молодые мичмана частенько прогуливались в слободке, пытаясь обратить на себя внимание красивой чернобровой Макриды с роскошной косой и ослепительными зубами. Но Макрида только лукаво играла глазами и держала себя неприступно, так что подозрительность адмирала была усыплена настолько, что он позволил Макриде, вместо приставленной им старухи, нанять прислугу по своему выбору.

Так продолжалось года три. Связь эта, к

ужасу адмиральши, не прекращалась, и адмирал все более и более привязывался к своей Макриде, как вдруг совершенно неожиданно фавор Макриды окончился и притом весьма для нее трагически.

## XVII

Однажды адмирал, вернувшийся с эскадрой на рейд поздно вечером, съехал на берег и отправился пешком в слободку.

Был двенадцатый час на исходе теплой, душистой южной ночи. Полная луна лила свой мягкий свет на маленькие белые домики тихой спящей слободки, но в "приюте любви" адмирала из-за густой листвы садика весело мигал огонек. Этот огонек возбудил в адмирале подозрительное удивление, и он тихими шагами подошел к домику. Подозрение его усилилось, когда калитка оказалась незапертой. Сердито ерзая плечами, он вошел во двор и тихо постучал в двери. За дверями послышалась беготня, и испуганный голос кухарки звал "Макриду Ивановну".

Тогда адмирал, легко гнувший подковы, рванул дверь и, грозный, с побледневшим ли-

цом и сверкающими глазами, очутился в прихожей. Кухарка, увидевши барина, только ахнула и уронила в страхе свечку. Адмирал шагнул в комнаты и в ту же минуту услышал стук отворенного в спальне окна и чей-то скачок в сад. В ту же секунду адмирал разбил окно в передней комнате и, заглянув вниз, увидел при нежном свете предательницы луны стройную фигуру поспешно удаляющегося знакомого молодого мичмана, на ходу натягивающего сюртук.

Адмирал молча заскрежетал зубами в бесильной ярости, видя, как молодой мичман перелез через ограду садика и был таков.

Повернув голову, он увидел в дверях Макриду в одной рубашке, с обнаженной грудью и распущенными роскошными волосами, спускавшимися до колен. Со свечой в руках, освещавшей ее красивое, бледное как смерть лицо, она глядела с безмолвным ужасом на грозного адмирала. Адмирал отвел от нее взгляд, и плечи его вздрагивали. Он молчал, и это молчание обдавало смертельным холодом несчастную девушку. И она в каком-то отчаянии опустилась на колени, с мольбой сло-

жив свои обнаженные белые руки.

Адмирал молча вышел, через четверть часа был уже на пристани и отвалил на дождавшейся его гичке на свой флагманский корабль.

Вахтенный офицер, встретивший его, заметил, что адмирал был чем-то очень расстроен и имел самый "освирепелый вид".

На следующий же день весь город и вся эскадра знали о вчерашнем скандале, и между молодежью было много смеха. Адмирал с утра съехал на берег, приказав двум боцманам явиться к нему с линьками к одиннадцати часам вечера.

Целый день адмирал был мрачен. Адмиральша уже узнала о вчерашнем скандале и была очень довольна, что приводило адмирала в большее бешенство. Все в доме с трепетом ждали расправы... Уже с утра Макрида была заперта в сарае, одетая в затрапезное платье. Чудные волосы ее были, по приказанию адмирала, острижены.

В одиннадцать часов вечера адмирал вместе с двумя боцманами удалился в конюшню, куда привели и Макриду. Двери были наглухо

затворены, но, несмотря на это, оттуда раздавались раздирающие душу крики и стоны. Потом все затихло. Адмиральша, потрясенная, теперь жалела несчастную Макриду. Полумертвую, ее ночью отнесли в слободку и через две недели отправили, еще не совсем оправившуюся, в деревню, где она впоследствии спилась и через несколько лет умерла.

Дочь Макриды, слишком похожая на адмирала, была помещена на воспитание и затем отдана в пансион в Петербурге. Адмирал любил свою, как он называл, "воспитанницу", часто навещал ее, и она изредка, по воскресеньям, приходила в ветлугинский дом на короткое время. И добрая адмиральша ласкала эту девочку, наделяла ее лакомствами и нередко плакала, вспоминая свои обиды и жалея бедную "батардку", как адмиральша про себя называла девочку. Когда эта девочка шестнадцати лет умерла, — адмиральша искренне ее оплакивала и была вместе с мужем на ее похоронах.

## XVIII

Вскоре после обнародования манифеста об освобождении крестьян адмирал однажды призвал сыновей в кабинет и сказал им:

— Наше родовое имение не велико... После надела останется всего пятьсот десятин... Делить его между вами не стоит... Как ты полагаешь, Василий? — прибавил он, обращаясь к старшему сыну, высокому, плотному моряку, лет тридцати пяти, очень похожему на адмирала лицом.

— Полагаю, что не стоит.

Не спрашивая мнения других сыновей, Николая и Гриши, адмирал продолжал:

— Мое намерение — отдать всю землю крестьянам и не брать с них ничего за надел... Им это на пользу, и они помянут добром Ветлугиных. Не правда ли?

На лице Гриши при этих словах промелькнуло невольное грустное выражение, хотя он и первый поторопился сказать:

— Конечно, папенька... Такой акт милосердия...

— Тебя пока не спрашивают! — резко пере-

бил адмирал, заметивший печальную мину почтительного Гриши. — Как ты полагаешь, Василий?

— Доброе сделаете дело, папенька! — отвечал моряк.

— И я так думаю... Надеюсь, что и отсутствующий Сергей так же думает... А ты, Николай?

— И я нахожу, что это справедливо.

— Ну, а ты, Григорий, уже поспешил апробовать "акт милосердия", иронически подчеркнул адмирал. — Значит, и делу конец.

Наступила короткая пауза, во время которой адмирал достал из письменного стола какой-то исписанный цифрами клочок бумаги и затем сказал:

— Взамен имения, которое должно бы быть разделено на четыре части, ибо сестер ваших я уже выделил деньгами, по три тысячи на каждую...

— На пять частей, папенька? — перебил отца старший сын. — Вы, верно, забыли, что всех нас пять братьев, — прибавил моряк, вспоминая об опальном Леониде.

— Я помню, что говорю! — крикнул, вспы-

живая, адмирал и продолжал: так вместо родового имени я выдам каждому из моих четырех сыновей (адмирал подчеркнул "четыре") деньгами, какие причитаются за выкупную ссуду и за пятьсот десятин... На каждого из вас придется по четыре тысячи... вот здесь на бумажке и расчет...

И адмирал кинул на стол бумажку, испи-санную цифрами.

— Хочешь посмотреть, Григорий? — насмешливо заметил адмирал повеселевшему сыну.

Гриша покраснел как рак и не двинулся с места.

— Деньги эти предназначены из аренды, которую мне недавно пожаловал государь император на двенадцать лет по две тысячи и которые мне выдадут сразу. Других денег у меня нет... Из этой же аренды Анна и Вера получают свои приданные деньги... Согласны?

Все, конечно, согласились, после чего адмирал их отпустил, объяснив, что Василий получит деньги через месяц, а Николай, Григорий и Сергей — по достижении тридцати-летнего возраста.

— А затем ни на что не рассчитывайте! — крикнул им вдогонку адмирал.

Когда мужики через старосту Акима узнали о милости барина, они сперва не поверили, — до того это было неожиданно. Но бумага, присланная адмиралом старосте, окончательно убедила мужиков, и они благословляли барина, простив все его тяжкие вины относительно многих своих дочерей. Староста Аким приезжал потом в Петербург благодарить адмирала, и грозный адмирал, видимо, был тронут искренней и горячей благодарностью деревни в лице ветхого старика Акима, которого он не допустил к руке, а милостиво пожал ему руку и несколько минут с ним беседовал.

На другой день после разговора с сыновьями адмирал сказал рано утром Никандру:

— Люди, конечно, знают о воле, которую даровал им государь император. Объяви им, что кто не хочет у меня оставаться, может через неделю уходить.

— Слушаю, ваше высокопревосходительство!

— Иди и сейчас же принеси ответ!

Никандр и без того знал, что решительно все, за исключением Алены, горничной Анны, да Настасьи, горничной адмиральши, собирались уходить. Уже давно на кухне шли об этом разговоры, и после манифеста радости не было конца. Все осеняли себя крестными знаменами и облегченно вздыхали при мысли, что они свободны и могут избавиться от вечного трепета, который наводил на всех грозный адмирал.

Через пять минут Никандр вошел в кабинет.

— Ну, что? Кто уходит?

— Ефрем, ваше высокопревосходительство.

— И пусть. Лодырь. А Ларион?

— Тоже просится...

— А Артемий кучер?

— Хочет побывать в деревне, повидать детей.

— Гм... И Федька, пожалуй, тоже уходит? — осведомился, хмурясь все более и более, адмирал о пятнадцатилетнем казачке.

— Хочет в ученье в портные поступить, ваше высокопревосходительство! — доклады-

вал Никандр с какою-то особенною почти-тельностью.

Адмирал помолчал и, сурово поводя бровями, продолжал:

— А девки?

— Олена да Настасья хотят остаться, если будет ваше желание.

Адмирал недовольно крякнул и снова помолчал.

— Нанять повара, кучера и лакея для барыни! — приказал он. — Да смотри, людей порасторопнее... Насчет жалованья сам переговорю.

— Слушаю-с, ваше высокопревосходительство! — отвечал Никандр, видимо, сам чем-то озабоченный.

— Двух девок довольно, — продолжал адмирал. — Алена может ходить за двумя барышнями, а если Настасья передумает и не останется, барыня сама найдет себе горничную... А прачки не нужно... Можно отдавать стирать белье...

— Слушаю-с!

Адмирал снова смолк и вдруг спросил:

— Ну, а ты как, Никандр? Останешься при

мне или нет?

В голосе адмирала звучала беспокойная нотка.

Никандр смутился.

— Я положу десять рублей жалованья, а если тебе мало — прибавлю...

— Я, ваше высокопревосходительство, не гонюсь за жалованьем. И так, слава богу, одет и обут...

— Так остаешься?

— Я бы просил уволить меня...

Адмирал насупился и стал мрачен. Этот Никандр, к которому он так привык, и тот собирается уходить. Этого он не ожидал.

А Никандр между тем продолжал робко, точно виноватый:

— Я, ваше высокопревосходительство, имею намерение сходить на богомолье, в Иерусалим.

— В Иерусалим? — переспросил озадаченный адмирал.

— Точно так-с.

— Зачем тебе туда?

— Сподобиться видеть святые места и помолиться искупителю грехов наших... Уже

давно о сем было мое мечтание, ваше высокопревосходительство.

Адмирал удивленно взглянул на Никандра, лицо которого теперь было торжественно и серьезно и не имело обычного мрачного вида.

— Ну, что ж, если ты такой дурак, ступай себе в Иерусалим! — сердито воскликнул адмирал. — Скоро собираешься? — прибавил он.

— Как разрешите, ваше высокопревосходительство!

— Мне что разрешать? Ты теперь свободный... Подыщи мне человека и уходи! — раздраженно заметил старик.

— Покорно благодарю, ваше высокопревосходительство.

Никандр удалился, а адмирал долго еще сидел в кабинете, угрюмый и озадаченный.

Тяжело было вначале адмиралу привыкать к новым лицам и, главное, не видеть вокруг себя того трепета, к которому он так привык. Приходилось сдерживаться и не давать воли рукам, которые так и чесались при виде какого-нибудь беспорядка. А угодить такому

ревнителью чистоты и порядка, как адмирал, было трудно. И он иногда не сдерживался и дрался... Прислуга уходила, нередко жаловалась, и адмиралу приходилось отплачиваться деньгами... Вдобавок уже ходили слухи о мировых судьях. Все эти новые порядки все более и более раздражали адмирала, и он срывал свое сердце на жене и на детях, для которых оставался прежним грозным повелителем.

Жизнь в доме становилась адом. Адмирал все делался угрюмее и злее. Обеды, когда собиралась семья, бывали мучением для всех домашних. Вдобавок адмиральша не смела уже более принимать у себя, даже и по субботам, никого из гостей, почему-либо неприятных адмиралу. По-прежнему адмирал целые дни сидел запершись у себя в кабинете, и одно сознание его присутствия нагоняло на всех испуг... Только по вечерам все вздыхали свободнее.

Адмирал почти каждый вечер уходил к новой своей фаворитке, бывшей горничной жены, Насте.

## XIX

Прошел год, и младшая дочь адмирала, Вера, нашла себе жениха. Правда, он был лет на тридцать ее старше и болезненный человек, но зато генерал, с хорошим положением и состоянием. Старый адмирал, казавшийся перед генералом совсем молодцом, был очень удивлен, когда, передавая предложение дочери, тотчас же получил ее согласие.

— Ты обдумала? — спросил он.

— Обдумала, папенька!

— И он тебе больше Чернова нравится?

— Он мне нравится!

— Что ж, я согласен, коли ты так хочешь...

Ступай замуж... Тебе, фуфыре, давно пора...

И, взглядывая на красавицу Веру с презрением, заметил:

— Расчетлива, сударыня. Из молодых дарящая. Ты с Григорием в масть... Пожалуй, и он на старушке женится, коли у старушки будет состояние... Поздравляю!.. Только смотри, будь верной женой, а то и такой дохлый, как твой будущий супруг, выгонит тебя из дому как шлюху! А уж я тебя потом не приму! — су-

рово прибавил адмирал.

Вера расплакалась.

— Ступай к себе нюнить! — прикрикнул адмирал. — Тоже нюня! Сама выходит за ослабленного, а туда же, обижается!..

По выходе замуж Веры в доме адмирала стало еще мрачнее. У адмиральши почти никто не бывал, и некому ей было рассказывать любовных историй... Анна целые дни читала, а адмиральша, не умевшая обходиться без общества, стала чаще посещать знакомых и возвращалась лишь к обеду, стараясь и вечером уехать куда-нибудь поболтать.

В один из зимних вечеров адмиральшу привезли домой без чувств в карете и перенесли в спальню. Анна, оставшаяся одна дома, тотчас же послала за доктором, который объявил, что с адмиральшей удар.

Анна не отходила от матери, которая лишилась языка и только мычала, грустно поводя своими добрыми глазами на всех скоро собравшихся у постели детей. Адмирала не было дома. Хотя все знали, что он проводит вечер у своей новой фаворитки, но не решались за ним послать туда. Наконец, в двенадцатом

часу, адмирал вернулся, вошел в спальную и, увидавши жену уже в агонии, наклонился над умирающей и крепко поцеловал ее. Адмиральша, казалось, узнала мужа, как-то жалобно и грустно замычала, и крупные капли слез скатились из ее глаз. Рукой, не пораженной ударом, она взяла руку адмирала и приложила к своим запекшимся губам.

Через полчаса ее не стало, и грозный адмирал ушел из ее комнаты со слезами на глазах. Почти всю ночь он пробыл около трупа в глубокой задумчивости. О чем вспоминал он, часто взглядывая на спокойное и доброе лицо покойницы? Это было его тайной, но видно было, что совесть его переживала тяжкие испытания, потому что под утро он вышел из спальни жены совсем осунувшийся и, казалось, сразу постаревший.

Похороны были блестящие, и к весне над могилой адмиральши стоял великолепный памятник.

---

Первое время после смерти жены адмирал как-то притих. Он был по временам необычно ласков с Анной и за обедом не бранил сыно-

вей и не глумился над Гришей. И со слугами был терпимее.

Но прошло полгода, и все это изменилось. Жизнь Анны стала настоящим испытанием. Адмирал точно находил удовольствие ее мучить, пользуясь ее кротостью, которая, казалось, его по временам приводила в бешенство. В минуты раздражения он корил, что она старая девка и не умела вовремя выйти замуж.

— Теперь небось никто не возьмет! — язвительно прибавлял адмирал.

Анна со слезами на глазах уходила к себе в комнату и горько раздумывала о своей судьбе... Она видела ясно, что ее присутствие почему-то стесняет отца.

"Уж не задумал ли он жениться на Насте?" — думала иногда Анна со страхом и отвращением, оскорбляясь за память матери.

Доставалось от адмирала и сыновьям, и они стали реже приходить обедать к адмиралу, так что часто адмирал обедал вдвоем с Анной и в это время давал волю своему раздражению.

За кроткую Анну пробовал вступить од-

нажды старший брат Василий. Приехавши как-то раз из Кронштадта, он пришел к отцу и стал говорить ему о тяжелой жизни Анны.

— Она тебе жаловалась на меня? — крикнул адмирал.

— Нет, не жаловалась, но я сам вижу.

— Видишь? Ты видишь? Ты за собой смотри... Яйца курицу не учат! Ступай вон! — вдруг загредел голос адмирала.

Моряк пожал плечами и пошел к Анне. Та пришла в ужас, когда узнала, что брат из-за нее поссорился с отцом, и сказала, что она не бросит отца, если только он сам не предложит ей оставить дом.

На другой же день за обедом адмирал сказал Анне:

— Ты жаловалась на меня, а?

— И не думала, папенька.

— Думаешь, братец заступится... а наплевать мне на твоего братца и на всех вас... Тоже хороши дети! Я поступаю, как хочу. Никто мне не указ. Слышишь ли, дура?

— Слышу, папенька.

— То-то же... И захочу, так и женюсь, если вздумается! — вдруг неожиданно крикнул ад-

мирал, точно желая подразнить свою дочь. — Да... И женюсь, коли вздумаю... И женюсь!

Анна молчала и со страхом думала: "Неужели это отец серьезно говорит?"

Месяца через два после этого адмирал однажды объявил ей, что хочет совсем уехать из Петербурга и поселиться где-нибудь в маленьком городке на юге.

— Стар стал и хочу отдохнуть... Да и климат там лучше... А ты оставайся здесь... Живи с Василием или с сестрой. Я тебе буду давать сто рублей в месяц... А то мы только друг друга раздражаем. Захочешь навестить меня, буду рад!.. Не бойсь, не женюсь, — шутливо прибавил он.

И скоро после этого разговора адмирал получил бессрочный отпуск и переехал в маленький глухой городок в Крыму вместе с Настей, а Анна перебралась к старшему брату Василию.

Прошло более десяти лет с тех пор, как адмирал уехал из Петербурга.

Четыре первые года он прожил в маленьком глухом городке на юге, под конец соскучился в захолустье, где нельзя было иметь приличную для него партию в преферанс, и переехал в губернский город N.

Там, в небольшом одноэтажном домике, окруженном густым садом, адмирал доживал свой век, вдали от детей, вдвоем с неразлучной Настасьей, жившей у него под названием экономки.

Старый адмирал так привязался и привык к своей раздобревшей, цветущей здоровьем, пышной и румяной экономке, что страшился мысли расстаться с ней. Умная и ловкая, умевшая нравиться сластолюбивому старику и угождать ему, никогда не возбуждая его ревнивых подозрений, Настасья хорошо сознавала силу своей власти и была, кажется, первой и последней женщиной, которая могла сказать, что держит грозного адмирала в руках.

Обыкновенно расчетливый даже и в любовных своих похождениях, не любивший зря бросать деньги, он, на закате своей жизни, стал проявлять щедрость и, задобривая "Настеньку" (так адмирал называл свою экономку), часто одаривал ее деньгами, вещами и платьями, требуя, чтобы она всегда одета была хорошо и к лицу. Однажды даже старик намекнул, что за верную службу и преданность он осчастливит Настеньку после своей смерти.

— Я и так осыпана вашими милостями, благодетель барин! — воскликнула молодая женщина. — Живите себе на здоровье... Вы еще совсем молодец! прибавила Настя, зная, что подобный комплимент был приятнее всего старику.

— Да, осчастливлю... Все, что у меня есть, тебе оставлю...

Настасья, уже скопившая кое-что, никак не рассчитывала на подобное благополучие и не смела верить такому счастью. Она знала, что бережливый старик далеко не проживал в последние годы всего получаемого содержания и что у него образовался изрядный капи-

тал, который обеспечил бы ее на всю жизнь... Неужели старик не шутит и оставит все ей?

Она бросилась целовать адмиралу руки и с хорошо разыгранной искренностью ответила:

— Что вы, голубчик барин? Зачем мне, вашей слуге? У вас есть дети наследники.

— Дети?! — воскликнул адмирал, хмуря брови. — А черт с ними! Они фыркают... я знаю... Недовольны, что я тебя приблизил... Говорят: "Старик из ума выжил"... Ну и я ими недоволен... Что следует, отдал им, а больше ни гроша!..

Ввиду такой перспективы, тем с большим терпением несла молодая женщина иго старческой привязанности и с большим старанием угождала старику и исполняла все его похотливые капризы, тщательно скрывая свое отвращение. Адмирал верил ее преданности и не замечал, что ловкая и хитрая фаворитка, несмотря на уверения в верности, его обманывает и разделяет свои ласки между старым адмиралом и его кучером Иваном, красивым, совсем молодым парнем, смутившим холодную натуру дебелой Настасьи. Нечего и гово-

ритель, что она умела хранить эту связь в строгой тайне, ожидая смерти адмирала, чтобы выйти замуж за Ивана и пожить, наконец, для себя, а не для прихоти "старого греховодника".

Адмиралу уже стукнуло восемьдесят девять лет. Сильно постарел он таки за последнее время! Он побелел как лунь и больше сторбился. Его лицо, по-прежнему суровое, с старческим румянцем на щеках, было изрыто морщинами и высохло, имея вид мумии. Стальные глаза потеряли свой острый блеск и выцвели, но зубы его все были целы, голос звучал сильно, память была отличная, никаких недугов он не знал — только иногда чувствовалась слабость и позыв к дремоте — и по временам, в минуты гнева, напоминал былого, полного мощи, грозного адмирала. В такие минуты и сама Настасья испытывала невольный трепет и вспоминала старые рассказы дворни ветлугинского дома о расправе с Макридой, уличенной в неверности.

В его маленьком домике, почти за городом, по-прежнему царил образцовый порядок и все сияло безукоризненной чистотой, напо-

минавшей чистоту военных кораблей. Нигде ни пылинки. Нигде стула не на месте! Медные ручки и замки у дверей блестели, и полы (особенная слабость адмирала) были так же великолепны, как и корабельная палуба. В саду господствовал такой же порядок, как и во всем доме; и там, в маленькой пристройке, хранились под замком гроб и памятник, приобретенные адмиралом для себя несколько лет тому назад, когда ему пошел восемьдесят пятый год. Гроб был дубовый, без обивки и без всяких украшений, прочно сделанный, по заказу адмирала, кромка на кромку, и принятый им от гробовщика после нескольких исправлений и тщательного и всестороннего осмотра.

— Ты что же, каналья, гвоздей мало положил? — сердито говорил адмирал гробовщику, когда тот принес в первый раз свою работу. — И гвозди железные, а не медные, как я приказывал!.. Переделать! Да ручки чтобы покрепче, а то гляди, подлец!..

И с этими словами адмирал рванул ручку и поднес ее к самому носу ошалевшего мастера.

Памятник из темно-серого мрамора представлял собою небольшой обелиск с якорем, обвитым канатом, с другими морскими атрибутами внизу, утверждённый на гранитной глыбе. Сделан он был по рисунку, сочинённому адмиралом и, надо сознаться, не обличавшему большой художественности в авторе. При заказе памятника адмирал сильно торговался и заставил-таки монументчика сбавить цену на целых пятьдесят рублей.

— Куда прикажете ставить памятник? — полюбопытствовал мастер и осведомился насчет надписи.

— Прислать ко мне... Надпись после дам! — резко ответил адмирал, не входя в объяснения.

На памятнике была вырезана золотыми буквами следующая надпись, составленная адмиралом после многих переделок:

АДМИРАЛ

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ВЕТЛУГИН.

РОДИЛСЯ 10-ГО ГЕНВАРЯ 1786 ГОДА.

В ОФИЦЕРСКИХ ЧИНАХ БЫЛ 30 ЛЕТ.

В АДМИРАЛЬСКИХ ЧИНАХ БЫЛ...

СОВЕРШИЛ КРУГОСВЕТНЫЙ ВОЯЖ И СДЕ-

ЛАЛ

50 МОРСКИХ КАМПАНИЙ.

СКОНЧАЛСЯ... 18...

ВСЕГО ЖИТИЯ...

ПОСТАВЛЕН ИЖДИВЕНИЕМ АДМИРАЛА.

Предусмотрительный адмирал велел вырезать только две первые цифры года смерти, на случай, если умрет не в семидесятых, а в восьмидесятых годах, и в духовном завещании поручал душеприказчику дополнить недостающие на памятнике цифры. Гроб и памятник содержались в полном порядке, и адмирал лично за этим наблюдал.

Старик сохранил все свои прежние привычки. Как и прежде, он неизменно вставал в шесть часов, брал холодную ванну, пил кофе с горячими "тостами" и холодной ветчиной и, одетый к восьми часам в сюртук (а по праздникам в сюртук с эполетами), с орденом св. Александра Невского на шее и с Георгием в петлице, отправлялся, несмотря ни на какую погоду, на свою обычную прогулку, продолжавшуюся час или два и развлекавшую старика. Эти прогулки давали ему новые впечатления и кое-какое подобие деятельности, им же самим созданной от скуки безделья, в качестве добровольного наблюдателя за порядком и чистотой в городе. Губернатор шутя называл адмирала лучшим своим помощником, которого полиция боится более, чем его самого.

Но уж теперь адмирал не носился, как прежде, своей быстрой и легкой походкой, не зная усталости, — годы брали свое, — а шел тихим шагом и уже с большой черной палкой в руке, направляясь в базарные дни непре-

менно к базару.

Все в городе знали высокую сгорбленную фигуру старого адмирала, строго и внимательно посматривающего по сторонам. Обыватели при встрече почтительно ему кланялись, дворники снимали шапки, а городовые вытягивались в струнку, провожая беспокойным взглядом грозного адмирала. В ответ адмирал кивал головой или прикладывал левую руку к козырьку фуражки. Заметив хорошенькую даму, адмирал, по старой привычке, приосанивался, выпячивал грудь и довольно кричал, прибавляя почему-то шагу. По пути он нередко останавливался около домов, где была грязь или не подметен тротуар, и грозил дворнику палкой, кидая ему своим резким сердитым тоном:

— Грязь... мерзость... Чтобы не было!

И шел далее.

Доставалось от него и городовым, и квартальным, и торговцам, у которых замечал недоброкачественные продукты. В особенности он донимал полицию.

Заметив беспорядки на улице, он энергично грозил палкой, а при какой-нибудь обиде,

чинимой городовым обывателю, адмирал непременно вмешивался в разбирательство и грозно кричал:

— Небось, гривенника не дали?.. Мерзавец!.. Губернатору скажу!

И полицейские боялись, как огня, адмирала, всюду сующего свой нос. Еще недавно, благодаря Ветлугину, один частный пристав, отчаянный мздоимец, не только слетел с места, но был отдан губернатором за разные беззакония под суд. В качестве свидетеля, и самого беспощадного, на суде фигурировал сам адмирал. Во время следствия адмирал не соблаговолил пожаловать к следователю, а попросил его к себе на квартиру, но в суд явился в полной парадной форме, в звездах и орденах. Несмотря на любезное предложение председателя давать показания в кресле, нарочно принесенном для престарелого адмирала, адмирал отвечал на вопросы суда и сторон стоя и хотя чувствовал утомление, но преодолевал его, чтобы не показаться перед публикой, среди которой было много дам, немощным стариком. Он в первый раз был в новом суде, который до того сильно бранил, и внимательно

дослушал все дело. После этого посещения адмирал, кажется, до некоторой степени примирился с новыми судами, хотя и находил, что прокурор и адвокат болтают много лишних пустяков и что взяточника-пристава наказали очень легко, сославши на три года в Архангельскую губернию.

— Ему бы, негодяю, арестантскую куртку следовало надеть для примера прочим! — говорил с сердцем адмирал. — Это был бы суд!..

— Законов таких нет, ваше высокопревосходительство! — деликатно возражал ему губернатор, вскоре после суда посетивший старика.

— То-то и скверно, что нынче таких законов нет, ваше превосходительство! А при покойном государе Николае Павловиче, значит, были. Я помню, как одного генерала — был он комендантом, — заслуженного, потерявшего ногу на Кавказе, — Николай Павлович разжаловал в солдаты за то, что тот обкрадывал арестантов. Так и умер солдатом. И поделом!

Губернатор, необыкновенно вежливый статский генерал, старавшийся быть всем приятным, снисходительно соглашался, что-

бы не спорить со стариком, и терпеливо про-  
сиживал полчаса, выслушивая воркотню ад-  
мирала насчет общей распущенности, неува-  
жения к властям и разных других зол, проис-  
ходящих оттого, что "нынче никто не боится  
начальства".

Когда адмирал появлялся на базаре, тор-  
говки обыкновенно пересмеивались и ти-  
хонько говорили: "Старый черт идет!" Многие  
торговцы, завидя адмирала, прятали или при-  
крывали гнилой товар, зная, что он подымет  
историю. Городовые откуда-то появлялись на  
свет божий.

А старик медленно проходил в толпе по ря-  
дам, среди поклонов и приветствий базарно-  
го люда. Всякий там знал его. Адмирал, справ-  
ляясь о ценах, смотрел мясо, дичь и рыбу, хо-  
тя ничего не покупал, спрашивал, откуда  
дичь и рыба, много ли в привозе, каков лов и  
т. п., пробовал черный хлеб и, если находил  
что-либо гнилым или несвежим, сердито за-  
мечал:

— Гнильем торгуешь, а? Понюхай-ка!

И, взявши гнилую рыбу, подносил ее к ли-  
цу торговца.

Обыкновенно тот клялся и божился, что рыба только что дала дух от жары, и откидывал ее в сторону, чтобы снова положить на место, когда старик уйдет.

Проходя мимо торговков, торгующих яйцами, молоком, бубликами и зеленью, адмирал нередко останавливался у смазливых баб и иногда вступал в разговоры.

— Как торгуешь, бабенка? Авдотья, кажется? — спрашивал адмирал, трепля ее по щеке рукой.

— Авдотья и есть, барин. А торгую, барин, плохо.

— Плохо? Зачем же плохо? Такой красавице стыдно торговать плохо. На вот тебе, молодка, на разживу.

С этими словами он давал ей новенький серебряный гривенник. Запас новой мелочи всегда был у него в кошельке.

Торговка благодарила и прибавляла:

— Черешенок купили бы, барин... Черешенки славные...

— Вижу. Повар уж взял.

— Он не у меня, барин, брал, а у Маланьи.

— Завтра у тебя возьмет.

И, ущипнув за подбородок молодую бабу, старик весело крякал и проходил далее, брезгливо обходя старых и непригожих торговок.

Побродив с полчаса по базару и непременно распушив кого-нибудь, адмирал возвращался домой, завернув по дороге иногда в лавку, чтобы купить лакомство или какую-нибудь обновку, и дарил Настасье.

Стараясь убить время до обеда, он придумывал себе разные занятия: сперва записывал в календаре происшествия утра со всеми мелочными подробностями, затем выдвигал ящики письменного стола и перебирал лежавшие там вещи и бумаги, осматривал платье в шкафу, заглядывал на минуту в комнату своей скучающей, заплывшей от жиру фаворитки, бродил по комнатам и глядел, все ли в порядке и на месте. Заметив, что кресло в гостиной стоит несимметрично, он его выравнивал. Во время таких осмотров обыкновенно доставалось лакею. Когда приносили газеты — все те же "Times" и "С.-Петербургские ведомости", — он надевал большие, в черепаховой оправе, очки, без которых уже не мог читать, принимался за чтение и нередко за чте-

нием незаметно поклевывал носом в своем кожаном кресле.

Во время франко-прусской войны адмирал с большим интересом следил за событиями и особенно негодовал на бездействие французского флота.

— Вот и хваленые броненосцы! Никуда показаться не могут... Срам! нередко ворчал старый моряк.

И, случалось, бросал газету и ходил по кабинету, мечтая о том, как бы он разнес немцев с прежней своей щегольской эскадрой.

За морским делом он следил, продолжая им интересоваться, и часто бранил наш броненосный флот и новое поколение моряков. Прочитав в газете, что броненосец стал при выходе из Кронштадта на мель или столкнулся с другим судном, адмирал с злорадством повторял:

— Хороши моряки! Нечего сказать, управляютя! Мы с одними парусами ходили и не стукались друг с другом, не щупали дна, а ныне и с машинами ходить не умеют!.. Моря-ки! Позор!

Если не было гостя, приглашенного к обе-

ду, Настасья обедала с адмиралом. Гости, впрочем, бывали очень редко. Раз или два в месяц адмирал приглашал обедать одного или двух постоянных своих партнеров: отставного старичка генерала и капитана первого ранга в отставке, Федора Ивановича Кнотопца, который еще мичманом служил в эскадре Ветлугина. С этим моряком адмирал обращался, точно тот все еще был мичман, и третировал, как мальчишку, хотя этому "мальчишке" уже было около шестидесяти лет. И моряк не обижался и смотрел на адмирала, как на начальника. Особенно доставалось ему за картами.

— Срам-с, Федор Иванович!.. Были прежде бравым офицером, а играете, как сапожник.

— Я, ваше высокопревосходительство, полагаю...

— А вы не полагайте-с... Он полагал... и дернул в чужую масть?.. А еще моряк... Стыдно-с! — сердито прибавлял адмирал.

— Виноват, ваше высокопревосходительство! — робко замечал добродушный Федор Иванович, трусивший, по старой памяти, грозного адмирала.

Этот же Федор Иванович, гулявший иногда по утрам с адмиралом, был неизменным и покорным слушателем его воркотни и его политических соображений и добродушно принимал на себя громы обвинений на молодых моряков, на которых, в лице старого Федора Ивановича, давно уже покинувшего службу, нападавал старик, все еще видевший в своем покорном слушателе молодого человека.

— Черт знает, что у вас теперь делается! Ай да молодые моряки! Чай, и забыли, как поворот овер-штаг делать?

Федор Иванович, действительно забывший прежнее свое ремесло, добросовестно замечал:

— Это верно, ваше высокопревосходительство, — забыл.

— То-то и есть... Ни к черту вы не годитесь!

Кроме двух названных партнеров да еще третьего, начальника местной дивизии, адмирал ни с кем не водил знакомств, ограничиваясь лишь обменом визитами с губернатором да комендантом. Архиеерея адмирал почему-то недолго любил и бывал в соборе лишь в царские дни. В свою очередь, и прео-

священный, человек очень строгой жизни, не благоволил к моряку и называл его "старым вольтеррианцем, погрязшим в блуде". И они никогда друг друга не замечали при случайных встречах.

Когда по вечерам не было партии, старик пил чай в комнате у своей экономки и коротал с ней вечер, слушая ее болтовню или заставляя ее петь песни. А то играл с ней в дурачки по гривеннику партию, прощая всегда ей проигрыш. В десять часов Настасья укладывала адмирала спать, оставаясь подле него, пока он не засыпал.

В последнее время старик спал плохо, нередко просыпался в три часа, вставал, раскладывал пасьянс или ходил угрюмый и скучающий, не зная что делать, по кабинету, ожидая, когда кукушка в столовой прокукует шесть раз, войдет слуга для обтирания и в маленьком домике начнется обычная жизнь.

Со своими детьми адмирал почти прекратил всякие сношения. Никогда особенно их не любивший, он под старость окончательно озлобился против своих близких и, казалось, забыл об их существовании. Даже к Анне, его прежней любимице, он охладел и, посылая ей ежемесячно деньги, не писал ни строчки. Анна лишь благодарила и уведомляла о получении. Сперва сыновья и дочери изредка еще писали отцу, но он не отвечал на письма, и переписка сама собою прекратилась. Никого из детей он не желал видеть, и никто его не навещал.

Одна только Анна, года через два после отъезда адмирала из Петербурга, просила разрешения приехать к нему погостить. Старик, после совещания с Настасьей, позволил и ко времени приезда дочери удалил экономку и запер ее роскошно убранную комнату на ключ.

Недолго прогостила Анна у отца. Присутствие дочери, видимо, раздражало адмирала, принужденного стесняться из-за нее и не ви-

деть около себя любимой экономки. Анна, конечно, поняла, в чем дело. Эта запертая комната и разряженная, раздобревшая Настасья, которую Анна встретила как-то на улице, красноречиво свидетельствовали о роли экономки в доме. К тому же и все в маленьком городке громко говорили о скандальной связи старого адмирала и смеялись над ней, и эти слухи дошли до Анны, глубоко оскорбленной за память матери.

И она поспешила уехать.

Старик был, видимо, обрадован отъездом дочери и, прощаясь с нею, не выражал желаний когда-нибудь увидеться, а сухо проговорил:

— Будь здорова... Верно, уж не увидимся... Обо мне не заботьтесь... У меня есть преданный человек... А если вы там фыркаете... недовольны... то и фыркайте... Я поступаю, как хочу...

И, вдруг закипая гневом, прибавил:

— Твоя старшая сестрица Ольга Алексеевна осмелилась написать письмо... Советы дает, как жить, а?! Я ответил, что она дерзкая дура и чтобы никогда больше не смела пи-

сать... Дети?! Хороши дети! Никого не хочу знать! — неожиданно крикнул старик. — Так и скажи всем... Слышишь...

— Слушаю, папенька! — грустно проронила обиженная Анна.

Вскоре после ее отъезда адмирал получил известие, что первенец его, Василий, утонул на кронштадтском рейде, ехавши на берег на шлюпке под парусами в очень свежую погоду. Адмирал принял эту весть со старческим эгоизмом и не особенно печалился. Ему только было жаль, что достойный представитель Ветлугиных погиб для флота. Адмирал возлагал теперь надежды на младшего сына Сергея. Он поддержит честь имени Ветлугиных во флоте, и, таким образом, моряки Ветлугины не исчезнут.

Но надеждам старого моряка не суждено было сбыться. Молодой мичман, только что вернувшийся из кругосветного плавания, в котором пробыл пять лет вместо трех, извещал отца о своем намерении выйти в отставку и просил его разрешения, без которого высшее морское начальство не соглашалось уволить молодого офицера.

Это письмо привело в ярость грозного адмирала. Тон его был почтительный, но твердый, и старик теперь невольно припомнил, как несколько лет тому назад он был побежден щенком. И это воспоминание еще более сердило его.

"В отставку... мерзавец!" — несколько раз злобно повторил старик и в бессильном гневе разорвал письмо на мелкие кусочки и плюнул на них.

Разумеется, он не отвечал на послание Сережи.

Прошло недели две, и от него снова было получено письмо, но на этот раз уже более настоятельное. "Если вы, папенька, не дадите разрешения, я устрою, что меня исключат. Хотите вы, чтобы офицера, носящего имя Ветлугина, выгнали из флота?" — писал между прочим Сережа, действуя на гордость и самолюбие старика.

Адмирал, знавший, что этот "упрямый негодяй" исполнит угрозу, принужден был, с яростью в сердце, согласиться. Он написал об этом министру, а сыну отправил письмо, адресуя его без имени и отчества, просто: "Мич-

ману Ветлугину", следующего содержания:

"Позора не желаю и против ветра плыть не могу. Черт с тобой, негодяй! Выходи в отставку и забудь отныне, что ты мой сын. Скотина!

Адмирал Ветлугин".

С тех пор он особенно невзлюбил строптивого Сережу, олицетворявшего в глазах старика ненавистный ему "дух времени".

Таким образом обрывались отношения между адмиралом и его детьми.

Один лишь Гриша неизменно и аккуратно писал отцу, поздравляя его с каждым большим праздником и с днями рождения и именин. И, несмотря на то, что не получил от адмирала ни одного ответа, Гриша все-таки продолжал посылать ему почтительно-покорные письма, не забывая сообщать в них о своих быстрых служебных успехах. В этом году он собрался жениться и неожиданно приехал в город N чтобы получить папенькино благословение. Остановился Гриша не у отца, а в гостинице, тотчас же собрал справки и узнал, что есть духовное завещание в пользу Настасьи и что у отца в банке около пятидесяти тысяч. Гриша нахмурился, выругал про себя па-

пеньку и, облачившись в мундир, отправился в маленький домик адмирала.

## XXIII

Старик дремал с газетой в руках у себя в кабинете, когда к крыльцу подкатил в извозчичьем фаэтоне красивый молодой полковник с аксельбантами. Лакей, никогда не видавший молодого Ветлугина, доложил, что адмирал почивает у себя в кабинете.

— Ничего, ничего, братец... я подожду... Скажи-ка Настасье Ивановне, что Григорий Алексеич приехал. А то, еще лучше, я сам пойду к папенькиной экономке... Где она?

И с этими словами Гриша прошел в ее комнату, указанную слугой.

— Здравствуйте, Настя... Не узнали? — ласково и необыкновенно приветливо заговорил он, протягивая руку молодой экономке.

Та в первую минуту, при виде молодого барина, испугалась и была смущена.

— Не узнали, постарел, видно? — продолжал Гриша и, взявши за руку Настю, притянул ее к себе и троекратно с ней поцеловался. — Какая же вы стали хорошенькая, — при-

бавил он, оглядывая молодую женщину своими большими голубыми глазами.

— Что вы, барин! — промолвила Настя, краснея от удовольствия. — Да что ж вы сюда... Пожалуйте в гостиную...

— Я у вас посижу, пока папенька спит... У вас тут славно...

Гриша присел, усадив все еще смущенную Настасью, и в несколько минут, очаровал ее своим обращением. Она думала, что он и говорить-то с ней не станет, а между тем этот красивый полковник говорил с ней, как с равной. Он расспрашивал об отце, поблагодарил, что она бережет старика, и сообщил ей, что собирается жениться и заехал на день, на два, чтобы попросить папенькиного благословения.

Настасья вызвалась сейчас же доложить адмиралу о приезде Григория Алексеича. Барин не спит... так дремлет.

Они вышли вместе. Гриша снова повторил, что Настя похорошела, и, весело разговаривая, они вошли в столовую.

Адмирал между тем перестал дремать и, услышав голоса, показался на пороге кабины-

та. Увидев Гришу вместе с эконожкой, он удивленно и без особенной радости взглянул на сына и строго спросил:

— Ты как сюда попал без моего разрешения?

Гриша подбежал, чтобы поцеловать руку отца, которую тот поспешил отдернуть, и стал извиняться, что приехал не предупредивши. Он был поблизости в деревне у родителей девушки, на которой он хотел бы жениться, и приехал просить благословение отца. Не желая беспокоить папеньку, он остановился в гостинице, тем более, что может пробыть только день или два.

— Не угодно ли вам, барин, покушать чего-нибудь с дороги или кофею? спросила Настя.

— Спасибо вам, милая Настенька. Ничего не хочу! — отвечал с приветливой улыбкой Гриша.

Обращение сына с эконожкой, видимо, понравилось старику, и он уже с меньшей суровостью проговорил:

— Будешь обедать у меня... Не взыщи, чем бог послал!..

И позвал его в кабинет со словами:

— Ну, расскажи, на ком ты женишься... Вижу: по службе хорошо идешь!

Гриша обстоятельно все рассказал; партия была приличная, и старик заметил:

— Что ж, женись... Очень рад!

В течение часа до обеда Гриша не переставал занимать старика. Он рассказал ему много новостей и между прочим, как бы невзначай, сообщил, что адмиралы Дубасов и Игнатьев недавно получили по пять тысяч десятин в Самарской губернии.

— Вот бы и вам, папенька, получить...

— Разве дают?

— Как же, всем заслуженным лицам дают.

Настя не обедала с Ветлугиными. Обед прошел, по обыкновению, быстро и в молчании. После обеда Гриша, простившись с отцом, попросил позволения зайти проститься с Настасьей...

Это опять-таки очень было приятно старику.

На другой день Гриша уехал из N, получив от отца, вместо образа, полторы тысячи. Столь щедрым подарком Гриша был всецело

обязан Настасье. При прощании он снова, как бы вскользь, напомнил о земле в Самарской губернии, рассчитывая, что после смерти отца пожалованное имение достанется сыновьям.

Но расчеты предусмотрительного Гриши не оправдались. Действительно, адмирал вскоре написал в министерство письмо, в котором просил министра ходатайствовать о пожаловании ему, по примеру прочих, земли, но только в N-ской губернии. Когда министр ему ответил, что казенные земли в N-ской губернии раздаче не подлежат, а что может быть пожалована лишь земля в Самарской или Уфимской губерниях, адмирал ответил, что там земли не желает.

— Что, не удалась дипломатическая поездка, мой высокопоставленный братец? — подсмеивался потом Сережа, встретившись с братом на родственном обеде у одной из сестер. — Самарская-то земля тю-тю!

## XXIV

Месяца через четыре после посещения Гриши адмирал, проснувшись однажды, почувствовал такую слабость, что не взял холодной ванны и не пошел на прогулку.

Так прошла неделя. Старик, видимо, слабел, терял аппетит и целые дни дремал. На предложения экономки послать за доктором он отвечал отказом.

Наконец уж он не мог вставать с постели. Тогда только он велел к вечеру послать за доктором.

Врач внимательно обследовал старика: слушал сердце, выстукивал грудь, осматривал опухшие ноги и, прописав лекарство, сказал, что зайдет на следующее утро.

— Что у меня? — спросил адмирал.

— Ничего особенного... Так, общая слабость...

— Говорите прямо. Я не боюсь смерти! — строго промолвил старик. Опасен?

— Опасны, ваше высокопревосходительство!

Действительно, адмирал совсем осунулся.

Черты его землистого лица заострились, и печать смерти уже лежала на нем.

Адмирал сделал движение головой в знак благодарности.

Доктор вышел, приказал послать за лекарством и предупредил экономку, что адмирал очень плох.

Ночью старик поминутно просыпался. Не отходившая от него Настасья давала ему лекарство. Он принимал его неохотно, и, когда экономка говорила, что это ему поможет, адмирал отрицательно шевелил головой и отвечал:

— Глупости!..

К утру адмирал совсем ослабел. Он с большим трудом мог повернуться на другой бок и сердился, когда Настасья хотела помочь ему.

— Не надо. Сам могу! Оставь!

В восемь часов утра, выпив горячего кофе, он велел попросить к себе Федора Ивановича, который был его душеприказчиком, и губернатора.

Когда явился Федор Иванович, адмирал произнес:

— Умирать, братец, пора...

— Что вы, ваше высокопревосходительство. Еще поживем-с!

— Вздор! — сердито ответил старик.

В это время вошел доктор. Он снова выслушал адмирала и хотел было выстукивать его высохшую желтую грудь, но старик, морщась, сказал:

— Не надо. Довольно!

Врач незаметно вызвал из спальни Федора Ивановича и сказал, что старику жить несколько часов, не более.

— Какая у него болезнь?

— Старость, — ответил доктор. — Сердце почти не работает.

Когда Федор Иванович вернулся, адмирал сказал ему:

— Доктору за два визита пять рублей!

Вскоре приехал губернатор.

— Что это, ваше высокопревосходительство, захворать вздумали? веселым тоном начал было деликатный губернатор.

— Умирать-с вздумал, — резко перебил адмирал. — Прошу извинить, что беспокоил ваше превосходительство...

Он сделал знак экономке, чтобы вышла, и

продолжал:

— Прошу, ваше превосходительство, переслать вот этот пакет, после моей смерти, морскому министру! — указал глазами адмирал на большой запечатанный пакет, лежавший на столике, около кровати. — В нем моя записка о флоте и собственноручное письмо ко мне Нельсона, когда я служил у него на эскадере. И насчет пенсии дочери, — прибавил он.

Губернатор взял пакет и молча поклонился.

— Все, что после меня останется: деньги, имущество, я завещаю экономке... Федор Иванович душеприказчик. Буду просить ваше превосходительство, чтобы ее на первых порах не обидели, чтобы никого в дом не пускали... особенно сына Григория...

Губернатор обещал оказать свое содействие.

После минутного молчания, видимо уставший, старик снова заговорил довольно твердым голосом:

— Хоронить меня попрошу со всеми почестями, подобающими полному адмиралу. Впереди должны нести мои флаги: контр-ад-

миральский, вице-адмиральский и адмиральский... Они все стоят в зале. Затем ордена... Федор Иваныч знает порядок.

— Все будет исполнено, ваше высокопревосходительство...

— Гроб, могила и памятник давно готовы... На похороны деньги отложены... Федор Иваныч! Посмотри-ка в правом верхнем боковом ящике в письменном столе.

Федор Иванович вышел в кабинет и скоро вернулся с конвертом, на котором крупным стариковским почерком было написано: "На мои похороны".

— Тут шестьсот рублей... больше не тратить, Федор Иваныч... Хоронит меня пусть приходский поп. Архиерея не нужно... Слышите, Федор Иваныч?

— Слушаю, ваше высокопревосходительство!

— Ну, теперь все, кажется... Покорно благодарю, ваше превосходительство, за внимание, — проговорил адмирал, протягивая из-под одеяла сморщенную побелевшую руку.

Губернатор дотронулся до холодеющей уже руки адмирала и, повторив обещание ис-

полнить все его распоряжения, ушел, обещав завтра навестить его высокопревосходительство.

Старик закрыл глаза и, казалось, дремал.

Тогда в кабинет вошла Настасья, вся взволнованная, со слезами на глазах (она слышала весь разговор, стоя у дверей), и, приблизившись к постели, проговорила:

— Голубчик барин, не хотите ли причаститься... Бог здоровья пошлет.

Адмирал ни слова не ответил.

Она повторила просьбу. Адмирал недовольно взглянул на свою фаворитку потускневшими глазами и снова опустил веки.

Через четверть часа он открыл глаза и слабым голосом произнес:

— Сегодня на почту придут деньги, Федор Иваныч... Жалованье и аренда за треть...

— Точно так, ваше высокопревосходительство...

— Нельзя ли оформить, чтобы и это Настеньке, а не детям?

— Уж поздно, ваше высокопревосходительство.

— Жаль... жаль... — коснеющим языком

пролепетал старик. — Так пусть одной Анне... Ну, ступайте... Подремлю, — прибавил он чуть слышно и закрыл глаза.

Федор Иванович и Настасья вышли за двери.

Когда через несколько времени они заглянули в спальню, грозный адмирал уже заснул навеки с спокойно-суровым выражением на лице.

Кукушка в столовой прокуковала три раза.

1891

# БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ

## *Повесть*

### I

В это прелестное, дышавшее свежестью раннее утро в Тихом океане на вахте флагманского корвета «Резвый» стоял первый лейтенант Владимир Андреевич Снежков, прозванный в шутку матросами «теткой Авдотьей».

Прозвище это не лишено было меткости.

Действительно, и в полноватой фигуре лейтенанта, и в его круглом и рыхлом, покрытом веснушками лице, и в его служебной суетливости, и в тоненьком, визгливом тенорке было что-то бабье.

Собой Владимир Андреевич был далеко не казист. Благодаря своим выкатившимся рачьим глазам он всегда имел несколько ошалелый вид. У него были рыжие жидкие баки и усы, очень толстые губы и большой неуклюжий мясистый нос, украшенный крупной бородавкой. Эту бородавку, смущавшую лейтенанта особенно перед приходами в порты,

корветский доктор хвастливо обещал свести, но до сих пор не свел, к большому огорчению Владимира Андреевича.

Обыкновенно бывавший на вахтах в удрученном томлении трусливого человека, ожидавшего «разноса», Снежков сегодня находился в хорошем расположении духа. Он с беззаботным видом шагал себе по мостику, поглядывая то на океан, кативший с тихим гулом свои могучие волны, сверкавшие под ослепительными лучами солнца, то на надувшиеся белые паруса, мчавшие «Резвый» благодаря ровному попутному ветру до десяти узлов в час, то на только что вымытую палубу, на которой происходила теперь ожесточенная обычная утренняя чистка, то на клипер «Голубчик», который, слегка накренившись, похожий на белоснежную чайку, несся чуть-чуть впереди, убравши брамсели, чтоб уменьшить свой бег и не «показывать пяток», как говорят моряки, корвету, с которым, по приказанию адмирала, шел соединенно от Сан-Франциско до Нагасаки.

По временам Владимир Андреевич, несмотря на свой солидный вид человека, от-

звонившего в лейтенантском чине двенадцать лет и недавно отпраздновавшего тридцатипятилетнюю годовщину, даже тихонько подсвистывал игривый вальсик, слышанный им в сан-францисском кафешантане и живо напоминавший ему о знакомстве с очаровательной певичкой американкой.

Воспоминания об этих недавних днях были приятные, черт возьми! Нужды нет, что в две недели стоянки певичка заставила своего влюбленного поклонника спустить не только жалованье за два месяца, но и все его небольшие сбережения за два года плавания. Он об этом не жалеет, до того неотразима была эта мисс Клэр, пухленькая блондинка с золотистыми волосами и карими глазками, сразу овладевшая мягким сердцем Владимира Андреевича, как только он съехал на берег после месячного перехода, увидел эту мисс и, познакомившись, пригласил ее любезной пантомимой вместе поужинать.

Небось он отлично объяснялся с ней, и чем дальше, тем лучше, несмотря на то, что знал по-английски не более десятка-другого слов. Но зато каких слов! Все самых существенных

и нежных, которые он добросовестно вызубрил по лексикону и повторял в различных комбинациях, подкрепляя их мимикой, особенно выразительной после двух-трех бутылок шампанского.

Слава богу, ему не нужно было прибегать к помощи кого-нибудь из товарищей, знающих английский язык, как он имел глупость делать прежде. Теперь он и сам храбро выпаливал английские слова, не заботясь ни о малочисленности, ни об их логической связи. Придет он к мисс Клэр в гостиницу, поклонится, поцелует ручку, сядет около и, воззрившись на нее, словно кот на сало, начнет, как он выражался, «отжаривать»:

— Добрый день... милая... очень рад... который час... отлично... как ваше здоровье... очаровательная... выпить, ехать... ножки... ручки... очень хорошо... восторг...

«Отжарив» эти слова, он начинал снова, но уже в обратном порядке, начиная с «восторга» и кончая «добрым днем», и разговор выходил хоть куда! Мисс Клэр хохотала как сумасшедшая, трепала лейтенанта по рыхлой щеке и отвечала милыми речами. Что она ему

говорила, Снежков, разумеется, и до сих пор не знает, но тогда он делал вид, что все понимает, убеждая ее в этом весьма простым способом: он вынимал из кармана несколько золотых монет, больших, средних и малых, клал их на свою широкую пухлую ладонь и предлагал знаками выбрать одну из них на память.

Но американка с такой ловкостью стягивала своей маленькой ручкой сразу все монеты с ладони лейтенанта, что он приходил в восхищение и после такого фокуса в восторге лепетал свои заученные слова.

Никогда впредь не обратится он в таких делах к чужому посредничеству. Знает он этих переводчиков! Влюбчивый и ревнивый, Владимир Андреевич не забыл и теперь, как года полтора тому назад с ним бессовестно поступил мичман Щеглов в Каптауне. Нечего сказать, благородно!

В качестве переводчика мичман обедал на счет Владимира Андреевича в обществе строгой на вид, чинной и красивой англичанки не первой молодости, «благородной вдовы, случайно попавшей в Каптаун после корабле-

крушения, лишившего ее всего состояния», которую лейтенант, при любезном посредстве мичмана, не замедлил пригласить обедать в номер гостиницы после первой же встречи на улице и краткого знакомства с ее биографией.

Казалось, Щеглов самым добросовестным образом переводил комплименты и излияния лейтенанта, уплетая при этом вкусный заказной обед с волчьим аппетитом двадцатилетнего мичмана. Казалось, что и англичанка, работавшая своими челюстями с не меньшим усердием, чем мичман, пившая не хуже самого Владимира Андреевича и ставшая к концу обеда менее строгой на вид, довольно милостиво слушала переводчика, бросая по временам благосклонные взгляды на амфитриона, пожиравшего жадными взглядами и белую шею, и полные руки этой дамы. Оставалось только разведать о наилучших путях к сердцу «благородной вдовы, потерпевшей кораблекрушение». И эту щекотливую миссию Щеглов исполнил, по-видимому, вполне удовлетворительно, так что Владимир Андреевич на радостях потребовал еще шампанского. Затем

последовали коньяк и кофе, и когда лейтенант вышел на минутку в сад, чтобы несколько освежить голову после капских вин, шампанского и коньяку, и затем вернулся в номер, ни вдовы, ни мичмана не было. Лакей доложил, что они уехали кататься и обещали скоро вернуться, и подал кругленький счетец.

Взбешенный Владимир Андреевич напрасно прождал их до позднего вечера. Они так и не приехали, а мичман, на следующее утро вернувшийся на корвет, с самым серьезным видом утверждал, что «благородная вдова, потерпевшая крушение», внезапно почувствовала себя нездоровой и настойчиво просила ее увезти.

— Что мне было делать?.. Согласитесь, что я не виноват, Владимир Андреевич... И она, знаете ли, не какая-нибудь авантюристка, а настоящая леди!.. — прибавил мичман, подавляя улыбку.

С тех пор Владимир Андреевич уж не брал с собой на берег переводчиков, а принялся за лексикон. И опыт в Сан-Франциско доказал, что он отлично может объясняться по-английски.

Лейтенант снова взглянул на паруса — стоят отлично; взглянул на компас — на румбе; озабоченно взглянул на люк адмиральской каюты — слава богу, закрыт.

И он опять зашагал по мостику.

После воспоминаний о прошлом в его голове проносились приятные мысли о близком будущем. В самом деле, плавание предстояло заманчивое. И флаг-капитан и флаг-офицер еще вчера положительно утверждали, что «Резвый» из Нагасаки пойдет в Австралию и посетит Сидней и Мельбурн, а «Голубчик» отправится в Гонконг для осмотра своей подводной части в доке, а оттуда в Новую Каледонию, где должен ожидать «Резвого» с адмиралом... Бедный «Голубчик»! — ему не «пофартило». Новая Каледония с дикими черномазыми дамами!

«А Сидней и Мельбурн — отличные порты, не то что эти китайские и японские трущобы с узкоглазыми туземками, достаточно-таки надоевшими», — размышлял Владимир Андреевич и, предвкушая будущие удовольствия, весело улыбнулся и опять стал подсвистывать, вызывая некоторое недоумение в

сигнальщике, который привык видеть на вахте Снежкова всегда озабоченным, суетливым и удрученным.

«Что за диковина? Тетка Авдотья веселая!» — подумал сигнальщик.

Подобное необычайное настроение Владимира Андреевича с подсвистываньем и приятными воспоминаниями объяснялось исключительно тем счастливым обстоятельством, что «беспокойный адмирал», как звали про себя начальника эскадры солидные капитаны и лейтенанты, или «свирепый Ванька» и «глазастый черт», как более образно втихомолку выражались легкомысленные мичмана и гардемарины, ни разу не выходил наверх во время его вахты и — бог даст! — не выйдет до подъема флага, до восьми часов, когда вахта окончится. Вчера беспокойный адмирал поздно лег спать и, верно, проспит долго!

Все на корвете боялись беспокойного адмирала, но никто так не трусил его, как Владимир Андреевич. Усердный служака, но далеко не моряк по призванию, нерешительный, трусливый и достаточно-таки рохля, он

в присутствии адмирала совсем терялся, и робкая его душа замирала от страха, что ему «попадет». Ему действительно довольно-таки часто попадало, и Владимир Андреевич краснел и пыхтел, шептал молитвы и старался не попадаться на глаза адмиралу, когда только это было возможно. Он малодушно прятался за мачту во время авралов, избегал выходить наверх, если наверху был «глазастый дьявол», за обязательными обедами у него не открывал рта, испытывая робость и смущение; во время вспыльчивых его припадков, когда адмирал, случалось, бушевал наверху, топтал ногами фуражку и прыгал на палубе, словно бесноватый, грозя повесить или расстрелять какого-нибудь мичмана или гардемарина, которого через час-другой звал к себе в каюту и дружески угощал, — в такие минуты Владимир Андреевич, совсем не понимавший натуры этого беспокойного адмирала и привыкший бояться всякого начальства, положительно трепетал и, по словам зубоскалов мичманов, тотчас же заболел *febris gastrica* [11].

— И боится же наша тетка Авдотья адмирала! — смеялись, бывало, матросы на баке,

когда речь заходила о лейтенанте.

— Робок очень, и нет в ем никакой флотской отважности... Совсем береговой человек! — объяснял боцман трусливость Владимира Андреевича.

— От этого самого он и суетится без толку на вахте... Опасается, значит, адмирала! — замечали старые матросы.

Посмеивались над ним и в кают-компании за эту трусость, и мичмана советовали взять да и «развести» [12] с адмиралом, но Владимир Андреевич только отмахивался безнадежно руками и решительно изумлялся, что были такие смельчаки, которые «разводили» с адмиралом, и что это проходило им совершенно безнаказанно. Сам он об этом не решался и подумать и молил только бога, как бы поскорей вернуться в Россию и получить там спокойное береговое местечко, а не то — какой-нибудь маленький пароходик или канонерскую лодку в командование и находиться подале от всяких адмиралов и вообще от высшего начальства.

К этим далеко не честолюбивым мечтаниям присоединялась всегда и мечта о подруге

жизни в образе какой-нибудь недурненькой женщины — брюнетки — или блондинки, это было для женолюбивого Владимира Андреевича безразлично, — но только обязательно не худощавой. Худощавых дам он не одобрял, не предвидя тогда, что судьба даст ему в жены именно худощавую, да еще какую!

## II

На баке только что пробило четыре склянки. Был седьмой час в начале, как из-под юта, где находилось адмиральское помещение, лениво выползла маленькая круглая фигурка курносого человека лет тридцати, с краснощеким, заспанным и несколько наглым лицом, опущенным черной кудрявой бородкой, в люстриновом пиджаке поверх розовой ситцевой сорочки, в белых штанах и в стоптанных туфлях, надетых на грязные босые ноги.

Этот единственный на корвете «вольный», как зовут матросы всякого невоенного, был адмиральский лакей Васька, продувная бестия из кронштадтских мещан, ходивший с адмиралом во второе кругосветное плавание,

порядочно-таки обкрадывавший своего холо-  
стяка барина и пускавшийся на всякие оборо-  
ты. Он давал гардемаринам под проценты  
деньги, снабжал их по баснословной цене  
русскими папиросами и вообще человек был  
на все руки.

При виде адмиральского камердинера с  
металлическим кувшинчиком в руке все при-  
ятные воспоминания и вообще неслужебные  
мысли разом выскочили из головы Владими-  
ра Андреевича, лицо его тотчас же приняло  
тревожно-озабоченное выражение и взгляд  
сделался еще более ошалелым.

— Васька! — тихо окликнул он адмираль-  
ского камердинера, когда тот был у мостика.

Васька галантливо приподнял с черново-  
лосой кудластой головы красную шелковую  
жокейскую фуражку — предмет его особенно-  
го щегольства перед баковой аристократи-  
ей — и приостановился, зевая и щуря на солн-  
це свои бегающие, как у мыши, плутовские  
карие глаза.

— Встал? — беспокойно спросил Владимир  
Андреевич, значительно понижая свой визг-  
ливый тенорок, и мотнул головой по направ-

лению адмиральского помещения.

— Встает... Только что проснулся. Сегодня бреемся. Вот за горячей водой иду! — развязно отвечал Васька, взглядывая на вахтенного начальника с снисходительной улыбкой, которая, казалось, говорила: «И чего ты так боишься адмирала?»

И, словно желая успокоить Снежкова, прибавил фамильярным тоном, каким позволял себе говорить с некоторыми офицерами:

— Раньше как через полчаса, а то и час, он не выйдет, Владимир Андреевич. При качке-то скоро не выбреешься, какой ни будь нетерпеливый человек. На прошлой неделе щеки-то порезал от своей скорости.

И Васька направился далее, умышленно замедляя шаги.

«Я, дескать, не очень-то спешу для адмирала, которого вы все боитесь!»

Владимир Андреевич немедленно засуетился. Он первым делом озабоченно поднял голову, взглядывая на верхние паруса. Теперь ему казалось, что марсели и брамсели не вытянуты как следует, и он скомандовал подтянуть шкоты. А затем понесся на бак осмот-

реть кливера.

— Кливера не до места, не до места... Как же это? — с жалобным упреком и с выражением страдания на лице обратился Владимир Андреевич к вахтенному гардемарину, который с самым беспечным видом коротал вахту, разгуливая по баку.

— Кажется, кливера до места, Владимир Андреич.

— Вам кажется, а мне попадет!.. Не вам, а мне!.. Адмирал увидит и... Скорей вытяните кливер-шкоты...

— Есть! — отвечал гардемарин.

— Да снасти... приберите их... Боцман! ты чего смотришь, а?

Подскочивший с засученными до колен штанами пожилой боцман, который с раннего утра усердствовал, наблюдая за чисткой и надрывая горло от ругани, докладывал успокоительным тоном:

— Уборка еще не окончена, палуба мокрая, ваше благородие! Как, значит, справимся с уборкой, тогда и снасть уберем, ваше благородие!

— А ты поторапливай уборку, поторапли-

вай, братец!

— Есть, ваше благородие!

В официально-почтительном взгляде боцмана скользнула улыбка. И он подумал: «И с чего ты зря суетишься?»

— И вообще... — снова начал было Владимир Андреевич.

Но так как он решительно не знал, что еще «вообще» сказать, то, оборвав фразу, побежал назад, покрикивая занятым чисткой матросам:

— Пошевеливайся, братцы, пошевеливайся!

Матросы усмехались и вслед ему говорили:

— Видно, адмирал скоро выйдет, что тетка Авдотья забегала.

Поднявшись на мостик, Владимир Андреевич зашагал, тревожно осматриваясь вокруг. Он то и дело подходил к компасу, чтобы посмотреть, по румбу ли идет корвет, взглядывал на надувшийся вымпел, чтобы удостовериться, не зашел ли ветер, — словом, обнаруживал тревожное усердие. И когда на мостик поднялся старший офицер, который с раннего

утра тоже носился по всему корвету как оглашенный, присматривая за общей чисткой, Владимир Андреевич поторопился ему сообщить, что адмирал встает.

— Бриться только будет! — прибавил он.

— Ну и пусть себе встает! — равнодушным, по-видимому, тоном проговорил длинный, высокий и худой старший офицер, с очками на близоруких глазах. — Придаться ему, кажется, не за что... У нас все, слава богу, в порядке... А впрочем, кто его знает?.. С ним ни за что нельзя ручаться!.. И не ждешь, за что он вдруг разнесет! — с внезапным раздражением прибавил старший офицер.

— То-то и есть! — как-то уныло подтвердил Владимир Андреевич.

Расставив свои длинные ноги, старший офицер поднял голову и стал оглядывать паруса и такелаж.

— Что, кажется, стоят хорошо, Михаил Петрович? Все до места? Реи правильно обрасоплены? — спрашивал Снежков с тревогой в голосе, ища одобрения такого хорошего моряка, как старший офицер.

— Все отлично, Владимир Андреич... Не

волнуйтесь напрасно, — успокоил его старший офицер после быстрого осмотра своим зорким морским взглядом парусов... — А ветерок-то славный... Ровный и свеженький... Как у нас ход?

— Десять узлов.

— С таким ветерком мы скоро и в Нагасаки прибежим... А «Голубчик» лучше нашего ходит... Ишь, брамсели убрал, а все впереди идет! — не без досады проговорил старший офицер, ревнивый к достоинствам других судов и точно оскорбленный за отставание «Резвого».

Он взял бинокль и жадным взглядом впился в «Голубчика», надеясь увидеть какую-нибудь неисправность в постановке парусов. Но напрасно! На «Голубчике», стройном, изящном и красивом, все было безукоризненно, и самый требовательный глаз не мог бы ни к чему придраться. Недаром и там старший офицер был такой же дока и такой же ученик беспокойного адмирала, как и Михаил Петрович.

Старший офицер несколько минут еще любовался «Голубчиком» и, отводя бинокль, про-

МОЛВИЛ:

— Славный клиперок!

Владимир Андреевич совсем чужд был этим морским ощущениям и, равнодушно взглянув на «Голубчика», спросил:

— А долго мы стоим в Нагасаки, Михаил Петрович?

— Возьмем уголь и уйдем.

— В Австралию?

— Говорят, что в Австралию.

— Разве это не наверное?

— Да разве с нашим адмиралом знаешь наверное, куда кто пойдет?.. Держи карман! Я вот в первое свое плавание у него в эскадре вполне был уверен, что пойду в Калькутту, а знаете ли куда пошел?

— Куда?

— В Камчатку!

— Как так?

— Очень просто. Поревел меня с одного клипера на другой — и шабаш! Вы, Владимир Андреевич, его, видно, еще не знаете... Он любит устраивать сюрпризы! — засмеялся старший офицер.

И вдруг вспомнив, что еще не осмотрел ма-

шинного отделения, сорвался внезапно с мостика, стремглав сбегал по трапу и, озабоченный, скрылся в палубе.

Неморяк, который увидал бы в этот момент старшего офицера, наверно, подумал бы, что он сошел с ума или что на судне несчастье.

### III

Тем временем Васька, наполнив кувшинчик кипятком и сказав коку, чтобы готовил кофе и поджаривал сухари, довольно беспечно беседовал у камбуза с молодым писарьком адмиральского штаба Лаврентьевым, который был первым щеголем, понимал деликатное обращение, знал несколько французских и английских фраз, имел носовой платок и носил на мизинце золотое кольцо с бирюзой.

Казалось, Васька мало заботился о том, что адмирал ждет горячей воды, и рассказывал приятелю-писарю о том, что за чудесный этот город Сидней, в котором он был с адмиралом в первое плавание.

— Прежде в нем одни каторжники жили,

вроде как у нас в Сибири, а теперь, братец ты мой, как есть столица! Всего, что хочешь, требуй!.. И театры, и магазины, и конки по улицам, и сады, одно слово — видно образованных людей. И умны эти шельмы, англичане. Ах, умны! Особенно насчет торговли... Первый народ в свете!

Адмиральский кок (повар), пожилой матрос, тоже ходивший с адмиралом второй раз в плаванье, заметил:

— Смотри, Василий, адмирал тебя ждет... Как бы не осерчал!

— Подождет! — хвастливо кинул Васька и продолжал: — Слышно, что из Нагасак непременно в Сидней пойдем... Так уж я тебе, Лаврентьев, все покажу... Прелюбопытно... А барышни — один, можно сказать, восторг!..

— Ой, Василий... Иди-ка лучше до греха... А то шаркнет он тебя этим самым кувшином! — снова подал совет повар.

— Так я его и испугался!.. Я — вольный человек. Чуть ежели что: пожалуйста расчет, и адью! В первом городе и уйду, если будет мое желание... И то, слава богу, потрафляю ему... Знаю его карактер. Другой небось на него не

потрафит... И он это должен понимать... Без меня ему не обойтись!

— Положим, ты вольный камардин, а все ж таки побереги свои зубы... Сам, кажется, знаешь, каков он в пылу... Не доведи до пыла... Беги...

— Ступай в самом деле, Василий Лукич! — проговорил и писарь.

Советы эти были своевременны, и Васька отлично это чувствовал. Но желание поломаться и показать, что он несколько не боится, было так сильно, что он продолжал еще болтать и не представлял себе, что адмирал, в ожидании горячей воды, уже бешено и порывисто, словно зверь в клетке, ходит в одном нижнем белье по большой роскошной каюте, бывшей приемной и столовой, и нервно поводит плечами.

Еще одна-другая раздражительная минута напрасного ожидания, как дверь адмиральской каюты приоткрылась, и на палубе раздался резкий, металлический, полный энергия и закипающего гнева голос:

— Ваську послать!

Владимир Андреевич невольно вздрогнул,

словно лошадь, получившая шпоры, и торопливо, во всю силу своих легких крикнул визгливым тенорком:

— Ваську послать!

— Ваську посла-а-ть! — раздался зычный голос боцмана в палубу и долетел до ушей Васьки.

— Дождался! — иронически бросил кок.

— Ишь ведь, не потерпит секунды...

Черт! — проговорил Васька и уж далеко не с прежним видом гоголя выскочил наверх и понесся к адмиралу с кувшином в руках, придумывая на бегу отговорку.

Едва только красная жокейская фуражка исчезла под ютом, как через отворенный и прикрытый флагом люк адмиральской каюты послышались раскаты звучного адмиральского голоса, прерываемые тоненькой и довольно нахальной фистулой Васьки.

— Мерзавец! — донесся заключительный аккорд, и все смолкло.

Адмирал начал бриться.

Минут через двадцать адмирал, свежий, с гладковыбритыми мясистыми щеками, в черном люстриновом сюртуке, с белоснежными

отложными воротничками сорочки, открывавшими короткую загорелую шею, легкой поступью вошел на мостик и в ответ на поклон смутившегося Владимира Андреевича снял фуражку, с приветливой улыбкой протянул широкую руку и весело проговорил:

— С добрым утром, Владимир Андреич!

И, бросив довольный взгляд на широкий простор океана, прибавил:

— А ведь мы славно идем, не правда ли?

— Отлично, ваше превосходительство! Десять узлов!

— И погода чудесная... Позвольте-ка бинокль.

Владимир Андреевич передал бинокль, и адмирал, подойдя к краю мостика, стал смотреть на шедший впереди и чуть-чуть на ветре клипер «Голубчик».

«Он в духе сегодня!» — радостно подумал Владимир Андреевич, поглядывая на беспокойного адмирала.

## IV

Полубовавшись клипером, адмирал отвел глаза от бинокля и, передав его вахтенному офицеру, видимо удовлетворенный, стал смотреть в океанскую даль.

Он снял белую с большим козырем фуражку, подставив ветру свою большую черноволосую, заседавшую у висков, коротко остриженную голову, и с наслаждением вдыхал утреннюю прохладу чудного морского воздуха.

Это был плотный и крепкий человек небольшого роста, лет сорока пяти-шести, кряжистый, широкий в костях, с могучей грудью, короткой шеей и цепкими, твердыми, толстыми «морскими» ногами. Его смугловатое, подернутое налетом сильного загара скуластое лицо с резкими и неправильными чертами широковатого носа, мясистых «бульдозных» щек и крупных губ с щетинкой подстриженных «по-фельдфебельски» усов дышало силой жизни, смелостью, избытком энергии беспокойной и властной натуры и той несколько дерзкой самоуверенностью, ко-

торая бывает у решительных, привыкших к опасностям людей. Большие, круглые, как у ястреба, слегка выкаченные черные глаза, умные и пронзительные, блестели, полные жизни и огня, из-под густых, чуть-чуть нависших бровей, лоб был большой и выпуклый.

И в этом энергичном лице, и во всей этой коренастой, дышавшей здоровьем фигуре чувствовалось что-то стихийное, сильное и необузданное, и в то же время доброе и даже простодушное, особенно во взгляде, мягком и ласковом, каким в настоящую минуту адмирал смотрел на море.

Глядя на этого человека даже и в эти спокойные минуты созерцания, никто не подумал бы усомниться в заслуженности составившейся о нем во флоте репутации лихого и решительного, знающего и беззаветно преданного своему делу моряка и деспотически страстного, подчас бешеного человека, служить с которым не особенно покойно. Недаром же в числе многочисленных кличек, которыми наделяли адмирала в Кронштадте, была и кличка «чертовой перечницы».

Прошрое его было, разумеется, хорошо из-

вестно среди моряков.

Все знали, что он был «отчаянный» кадет и вышел из морского корпуса в черноморский флот, куда выходили по преимуществу молодые люди, не боявшиеся строгой службы, где и получил основательное морское воспитание в школе Лазарева, Корнилова и Нахимова. Любимец двух последних адмиралов и восторженный их поклонник, он выдвинулся в Крымскую кампанию, приобретя известность исполнением всяких опасных поручений и особенно своими смелыми выходами на небольших пароходах из блокируемого неприятельским флотом Севастополя и дерзким крейсером в Черном море, полном неприятельских судов.

Корнев — так звали начальника эскадры — делал блестящую по тем временам карьеру, тем более для человека без всяких связей и протекции. Вскоре после войны он, флигель-адъютант, сорока лет от роду, был произведен в контр-адмиралы и уж второй раз командовал эскадрой Тихого океана.

Когда полгода тому назад, совершенно неожиданно, Корнев приехал на смену своего

предместника, умного и образованного адмирала Н., но совсем не моряка в душе, почти чуждого подчиненным, державшего себя от них в отдалении и обращавшегося со всеми с любезной и брезгливой холодностью служебного баловня, богача и аристократа, — все тотчас же почувствовали нового начальника эскадры и его беспокойную натуру.

Эскадра оживилась, как оживляется добрый конь, почуявший опытного и смелого всадника. Все старались подтянуться. Между судами появилось соревнование. Офицеры и матросы сразу почувствовали в новом адмирале не только начальника, но страстного моряка и знающего ценителя. Он взбудоражил всех, приподнял самолюбие и как-то осмыслил службу, этот беспокойный адмирал, требуя не одного только исполнения обязанностей, а, так сказать, всей души.

Ураганом пронесся он, явившись на свой флагманский корвет «Резвый», когда после обычного опроса у команды претензий узнал, что ревизор плохо кормит людей и не все выдает им по положению. Командир и ревизор были «разнесены вдребезги». Ревизору было

приказано немедленно «заболеть» и ехать в Россию. «Жаркую баню» пришлось выдержать и одному юнцу гардемарину, который наказал розгами матроса, не имея на то права. Гардемарин был назван «щенком» и переведен на другое судно. И опять досталось капитану, допустившему такой «разврат».

Не прошло и месяца с приезда адмирала, как на эскадре, собравшейся в Хакодате, начались перетасовки.

Адмирал своей властью сменил двух старых, не особенно бравых и энергичных капитанов, решив после знакомства с ними в море, что они «бабы». Предложив им ехать в Россию, он, не желая повредить им, дал о них министру лестные аттестации и объяснил, что хотя они и вполне достойные капитаны, но слабое их здоровье делает их не совсем пригодными к беспокойным океанским плаваниям. Вместо них он назначил двух, относительно молодых, старших офицеров, а на их места — совсем молодых лейтенантов, ходивших с ним в первое его плавание.

После этих перемен адмирал несколько успокоился.

Нечего говорить, что в Петербурге, привыкшем к канцелярским перепискам и к безразличной нерешительности начальников эскадр сделать что-нибудь неудобное высшему начальству, были очень недовольны адмиралом, который так круто и самовольно распоряжается.

Управляющим министерством в то время был адмирал Шримс, почти не бывавший в море, всю жизнь прослуживший в штабах, очень умный человек, известный хорошо морякам, особенно молодым, с которыми он обращался с фамильярной простотой, как веселый балагур и циник, любивший крепкие и пряные словечки. Весьма ревнивый к власти и давно привыкший к ней, он приказал написать Корневу строгое внушение, поставив ему на вид самовластие его распоряжений и молодость и неопытность назначенных им капитанов и старших офицеров. Бумага заканчивалась предписанием впредь не сменять капитанов без его, адмирала Шримса, разрешения.

Эта бумага была получена в Сан-Франциско недели три тому назад.

Адмирал прочитал ее, швырнул на стол, зашевелил скулами и гневно воскликнул, вращая белками:

— Ведь эдакий болван, этот Шримс, хоть, кажется, и умный человек!

Бывший зачем-то в эту минуту в адмиральской каюте флаг-капитан адмирала, худощавый, чистенький и прилизанный молодой белобрысый капитан-лейтенант Ратмирцев, щеголявший изысканными, великосветскими манерами и ханжеством, испуганно взглянул на адмирала, которого боялся больше, чем моря, и в душе презирал за грубые манеры.

Казалось несколько странным, как подобный «придворный суслик», как прозвали гардемарины этого франтоватого и светского капитан-лейтенанта, мог быть флаг-капитаном у такого человека, как беспокойный адмирал.

Но дело объяснялось просто.

Совершенно неспособный к морской службе, трусливый и мямля, Ратмирцев благодаря связям и протекции командовал клипером в эскадре Тихого океана. Долго Корнев не встречал этого клипера, откомандированного в

крейсерство у берегов Приморской области. Но как только адмирал его встретил и проплавал на нем с неделю, он немедленно «убрал» Ратмирцева, предложив ему совершенно неотвественное место флаг-капитана [13], вполне уверенный, что Ратмирцев сам будет проситься скорей в Россию, так что его не придется и «сплавлять».

Адмирал снова взял полученную бумагу, снова прочел и снова воскликнул тоном, не допускавшим ни малейшего сомнения, швыряя бумагу:

— Болван...

Ратмирцев хотел было дипломатически исчезнуть из каюты.

Адмирал заметил это намерение и резко сказал:

— Прошу, Аркадий Дмитрич, подождать минутку.

И, не обращая внимания на присутствие флаг-капитана, продолжал:

— Скотина эдакая: сидит там в кабинете и ничего не понимает...

Ратмирцев только ежился, скандализованый этими выражениями.

«Совсем грубое животное!» — подумал Ратмирцев.

Прошла минута-другая молчания.

— Аркадий Дмитрич!

— Что прикажете, ваше превосходительство? — изысканно-вежливым тоном спросил флаг-капитан, почтительно и очень красиво наклоняя туловище.

— Потрудитесь сегодня же, сейчас, немедленно, — нетерпеливо и резко говорил адмирал, слегка заикаясь и словно бы затрудняясь приискивать слова, — написать приказ по эскадре, что я изъявляю свою особенную благодарность командующим «Забияки» и «Коршуна» за примерное состояние вверенных им судов.

Командующие этими судами были недавно назначенные адмиралом и не утвержденные в звании командиров в Петербурге, о чем просил адмирал.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да напишите приказ, Аркадий Дмитрич, в самых лестных выражениях... И не забудьте-с, Аркадий Дмитрич, копию с приказа вместе с другими бумагами послать в Петербург.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Пусть там прочтут-с! — сказал, усмехнувшись, адмирал, видимо, довольный сделанным им распоряжением и начинавший «отходить».

Он передал флаг-капитану несколько бумаг из Петербурга и приказал приготовить ответы, какие нужно.

— А на эту я сам отвечу! — значительно произнес адмирал, словно бы угрожая кому-то.

И, отложив бумагу в сторону, адмирал уставил свои большие круглые глаза, еще сверкавшие гневным огоньком, в почтительно-равнодушное, бесцветное, белобрысое лицо флаг-капитана.

Судя по этому взгляду, тот ждал: не будет ли еще каких приказаний?

Но вместо этого адмирал после долгой томительной паузы совершенно неожиданно произнес:

— Знаете ли, что я вам скажу, любезнейший Аркадий Дмитрич... Ужасно сильно выдушитесь... Какие у вас это духи? — прибавил, видимо, сдерживаясь адмирал я думая про се-

бя: «И какой же ты вылощенный дурак!»

Вот что хотел он ему сказать этим вопросом о духах.

Ратмирцев, несколько изумленный и сконфуженный, пробормотал:

— Опопонакс, ваше превосходительство!

— Опопонакс?! Отвратительные духи-с! Можете идти, Аркадий Дмитрич, и потрудитесь сию минуту написать приказ! — прибавил адмирал.

Вслед за тем адмирал принялся за письмо к Шримсу. Письмо было довольно убедительное.

Корнев извещал, что за несколько тысяч миль довольно трудно испрашивать разрешений и что, отвечая за вверенную ему эскадру, он должен быть самостоятельным и считает себя вправе сменять офицеров по своему усмотрению, а с завязанными руками командовать эскадрой сколько-нибудь достойно уважающему себя начальнику решительно невозможно, с чем, разумеется, согласится всякий адмирал, бывший в плаваниях, — подпустил Корнев шпильку своему начальнику, никогда не командовавшему ни одним суд-

ном. Что же касается до молодости назначенных им капитанов, то он «позволяет себе думать», что молодые, способные и энергичные капитаны несравненно полезнее старых, бездеятельных или болезненных и что в деле выбора людей на должности, требующие знания и отваги, решительности и находчивости, нельзя сообразоваться с летами. Такие знаменитые учителя, как Лазарев и Корнилов, в назначениях руководились не годами службы, а морскими качествами, и «я сам имел честь командовать в Черном море шкуной в лейтенантском чине». Из посланной при рапорте копии с приказа по эскадре его превосходительство убедится, что назначенные им командиры вполне достойные и лихие моряки, и он считает за честь иметь таких капитанов в эскадре. В заключение адмирал снова просил утвердить их в звании командиров, если только высшему морскому начальству угодно, чтоб он командовал эскадрой, и прибавлял, что он и впредь будет действовать, руководствуясь правами, предоставленными уставом начальнику эскадры в отдельном плавании, и принимая на себя ответ-

ственность за сделанные им распоряжения, клонящиеся к поддержанию чести русского флага.

В том же письме адмирал сообщал, что вследствие полной неспособности в морском деле капитан-лейтенанта Ратмирцева, более годного для береговой службы, чем для плаваний, он почел своим долгом отрешить названного офицера от командования клипером и назначить его временно своим флаг-капитаном, хотя до сих пор он и обходился без такового, довольствуясь одним флаг-офицером, а для приведения позорно запущенного клипера в должный порядок и вид, соответствующий военному судну, он назначил командующим лейтенанта Осоргина, вполне достойного офицера, бывшего старшим офицером на лучшем судне эскадры, на клипере «Голубчик».

Нетерпеливый адмирал в тот же день отправил это письмо, после чего значительно повеселел и, съехавши на берег в своем статском, неуклюже сидевшем на нем платье и с цилиндром на голове, похожий скорей на какого-нибудь принарядившегося мелкого ла-

вочника, чем на адмирала, — зазвал двух гардемаринов, которые не успели юркнуть от него в другую улицу, в гостиницу, угостил их обедом, хотя они и клялись, что только что пообедали, и на обедом рассказывал им, какие доблестные адмиралы были Лазарев, Нахимов и Корнилов. И, что всего удивительнее, адмирал ни разу не разнес своих гостей — ни за то, что они ели рыбу с ножа, ни за то, что они наливали белое вино в стаканы, а не в рюмки, ни за то, что не знали знаменитого приказа Нельсона пред Трафальгарским сражением, ни за то, что до сих пор не написали заданного им сочинения о том, как взять Сан-Франциско и разгромить тремя клиперами и двумя корветами предполагаемую на рейде неприятельскую эскадру, значительно превосходящую своими силами.

И когда наконец адмирал отпустил гардемаринов, они радостно выбежали на улицу и оба в один голос сказали, весело смеясь:

— Глазастый черт сегодня штилюет!

Когда в Петербурге было получено письмо Корнева, адмирал Шримс проговорил, обращаясь к своему директору канцелярии:

— Посмотрите, что пишет нам башибузук... Артачится...

И с тонкой улыбкой умного человека заметил:

— И ничего ведь не поделаешь с этим сумасшедшим «брызгасом»! Черт с ним! Пусть себе лучше сатрапствует вдали, а не пристаёт здесь с разными затеями... Ведь у Корнева вечно перец под хвостом! — смеясь, прибавил Шримс, зная благоволение, каким пользуется Корнев у высокопоставленного генерал-адмирала, и ревнуя к нему. — Утвердите всех назначенных им командиров... Пусть они там все беснуются со своим адмиралом!

И адмирал Шримс залился густым веселым хохотом.

\*\*\*

Пробило шесть склянок.

Адмирал перестал любоваться морем и, надев фуражку, поднял глаза на рангоут.

Лейтенант Снежков, следивший за каждым шагом адмирала, тоже возвел очи, чувствуя душевное беспокойство.

— А я на вашем месте, Владимир Андреевич, давно бы прибавил парусов, а то срам-

с... мешаем «Голубчику» нести брамсели!

— Какие прикажете поставить, ваше превосходительство? — испуганно спросил вахтенный лейтенант.

— Сами разве не знаете-с? — внезапно закипая, воскликнул адмирал. — А еще морской офицер! Ставьте лиселя с правой и топселя!..

Снежков засуетился и закомандовал.

Суетливость его, видимо, раздражала беспокойного адмирала. Уже заходили скулы и стали подергиваться плечи его превосходительства, но быстро исполненный маневр постановки парусов вернул ему прежнее хорошее расположение духа.

Корвет чуть-чуть прибавил ходу, и адмирал с самым приветливым видом сказал, чувствуя потребность ободрить смущенного лейтенанта:

— Вот видите, любезный друг, мы на четверть узла и прибавили ходу...

Этот «любезный друг» не привел, однако, лейтенанта Снежкова в радостное настроение. И он, как и другие, очень хорошо знал, что у беспокойного адмирала вслед за «любезным другом» мог появиться такой нелюбез-

ный окрик, от которого у тетки Авдотьи положительно душа уходила в пятки.

— А что, гардемарины встают?

— Не знаю, ваше превосходительство.

— Да что вы меня титузуете?.. Я сам знаю, что я его превосходительство... Пошлите-ка будить гардемарин... Нечего им валяться... Такое прекрасное утро, а они спят.

## V

Гроза офицеров, беспокойный адмирал особенно школил юнцов гардемарин, относительно которых был не только требовательным адмиралом, но, так сказать, и гувернером-педагогом, заботившимся не об одной морской выучке, а также о пополнении общего образования, довольно скудно отпущенного морякам морским корпусом.

Нечего и говорить, что шесть гардемарин и три штурманские кондуктора, бывшие на флагманском корвете, не очень-то были признательны своему надоедливому учителю, и, признаться, надоел он им таки порядочно.

И зато каких только прозвищ они ни при-

думывали адмиралу и каких только стихов ни сочиняли про него!

Когда адмирал спустился с мостика и заходил по шканцам, в открытый люк гардемаринской каюты до него доносился веселый говор встающих молодых людей. И вдруг чей-то тенорок запел:

*Не пора ль рассказать,  
Как пришлось нам ждать  
Адмирала.*

«Про меня!» — подумал, усмехнувшись, адмирал, поворачиваясь от люка.

Приблизившись снова к люку, он услышал уже следующий куплет:

*Всюду тыкал свой нос,  
Задавая «разнос»,  
Черт глазастый!*

«Ишь... „черт глазастый“! Это непременно Ивков сочинил... Дерзкий мальчишка!» — мысленно говорил адмирал, чувствовавший некоторую слабость к этому «дерзкому мальчишке», которого он уж грозил раз повесить и раз расстрелять.

— Пожалуйста кофе кушать! — доложил,

приблизившись, Васька недовольным, обиженным тоном, представляясь, что дуется на барина.

— Хорошо.

В гардемаринской каюте мгновенно наступила тишина. Чья-то голова высунулась в люк и скрылась.

— Пожалуйте, а то кофе остынет. Меня же станете ругать. Опять я останусь виноватым, — говорил Васька.

— Иду, иду... Не ворчи, каналья.

Адмирал отправился в каюту.

В это время на палубе показался гардемарин Ивков.

Адмирал обернулся и, увидав Ивкова, поздравил его.

Тот подошел и приложил руку к козырьку фуражки.

— Доброго утра, Ивков, — проговорил адмирал, подавая гардемарину руку и весело и ласково поглядывая на него... — Вы чай пили?

— Пил, Иван Андреевич.

Адмирал как будто был недоволен, что Ивков пил чай, и сделал гримасу.

— Ну, все равно... Покорнейше прошу ко мне кофе пить... Надеюсь, не откажетесь? — любезно предложил адмирал.

«Черта с два откажешься!» — подумал Ивков, отлично зная, что просьба адмирала была равносильна приказанию.

Бывали примеры! Однажды гардемарин, обиженный на адмирала, который «разнес» его утром, ответил Ваське, явившемуся в тот же день передать адмиральское приглашение к обеду, что он не может быть, — так была история!

Немедленно гардемарина потребовали наверх к адмиралу.

— Почему вы не можете быть, любезный друг? — осведомился адмирал.

Гардемарин не мог придумать удовлетворительного объяснения. Сказаться больным было невозможно — у него был предательски здоровый вид. И он угрюмо молчал.

— Быть может, не расположены? — предложил коварный вопрос адмирал, уже начинавший ерзать плечами.

— Не расположен, — отвечал гардемарин. Адмирал тотчас же вспыхнул:

— Не расположены-с?! Он не расположен! Да как вы смеее быть не расположены идти обедать к адмиралу, а?.. Вы полагаете, что мне очень приятно видеть такого невежу у себя за столом и я поэтому вас пригласил?.. Скажите пожалуйста!». Я вас зову обедать по службе, и вы не смеее отказываться! Поняли? К шести часам быть к обеду! — резко оборвал адмирал.

После такого, не особенно любезного, служебного характера приглашения пришлось, разумеется, явиться к обеду, иначе, того и гляди, беспокойный адмирал приказал бы силою привести смельчака, который вздумал бы упорствовать в отказе.

К тому же адмирал любил за обедом знакомиться, так сказать, более интимно с подчиненными, любил гостей у себя за столом и был гостеприимным и радушным хозяином, пока не становился бешеным адмиралом. Каждый день у него, кроме штабных — флаг-капитана и флаг-офицера — да командира, обедали вахтенный офицер, вахтенный гардемарин, стоявшие на вахте с четырех до восьми часов утра, и по очереди старший офицер,

штурман, механик, артиллерист и доктор.

Недавняя история с Лукьяновым быстро пронеслась в голове Ивкова.

И он, поблагодарив за приглашение и мысленно проклиная его, не особенно веселый, с понуренным видом влопавшегося человека, вошел вслед за адмиралом в его приемную и вместе столовую.

Это была огромная, роскошная, полная света каюта, отделанная щитами из красного дерева, с небольшим балконом за кормой, в раскрытые двери которого, словно в рамке, виднелся океан и голубое высокое небо. Ковер во всю каюту, диван вокруг стен, мягкая мебель, качалки, библиотечный шкаф и большой стол посередине — все это было роскошно и солидно. Двери по бокам вели в кабинет, спальню, уборную и ванную этого комфортабельного адмиральского помещения.

— Эй, Васька! Еще чашку! — крикнул адмирал, подходя к небольшому столу в глубине каюты, у дивана, накрытому белоснежной скатертью. — Садитесь, любезный друг, — обратился он к Ивкову, опускаясь на диван.

На столе аппетитно красовались свежие,

только что испеченные вкусные булки и сухари, тарелочки с ломтиками холодной ветчины и языка, сыр, масло и банка с консервированными сливками.

Васька подал две большие чашки горячего кофе; адмирал сам положил в обе чашки сливок, размешал и, подавая одну чашку Ивкову, промолвил:

— Кофе Васька хорошо варит...

Он принялся за кофе, заедая его бутербродами. Вид вкусных яств соблазнил и гардемарина, хотя он и пил только что чай.

— Кушайте, кушайте на здоровье, Ивков... Быть может, вы любите печенье?.. Эй, Васька! Подай нам печенье!..

Несколько минут прошло в молчании. Адмирал кончил свою чашку и приказал Ваське подать Ивкову другую.

— Благодарю, Иван Андреевич, я больше не хочу.

— Выпейте... Ведь вы у себя такого кофе не пьете...

— Мы чай пьем.

— То-то и есть. Васька, налей!

— Я, право, не хочу более, Иван Андреевич.

Разрешите не пить! — просил, улыбаясь, Ивков.

— Ну, как хотите. Васька, не наливай и убери со стола!

Адмирал вынул портсигар и протянул его Ивкову.

Гардемарин, давно уже пробавлявшийся манилками и изредка позволявший себе полакомиться папиросками, покупая их за баснословно дорогую цену у Васьки (он запасся табаком и делал хороший гешефт, продавая их офицерам), разумеется, не отказался и закурил отличную душистую адмиральскую папироску, с наслаждением затягиваясь. Закурил и адмирал.

Попыхивая дымком, он уставил на Ивкова свои кроткие, слегка задумчивые теперь глаза и мягко и ласково проговорил:

— Смотрю я на вас, Ивков, и вспоминаю свою молодость, вспоминаю вашего батюшку и вашего покойного брата. Он ведь мой лучший друг был... с корпуса дружили... Прекрасный морской офицер был ваш брат... Его и Владимир Алексеевич Корнилов ценил, а Владимир Алексеевич не ошибался никогда. И

батюшка ваш в свое время славился как лихой адмирал. Крутенок только был. Мы, тогда мичмана, боялись его, как огня.

В небольших, бойких и живых карих глазах Ивкова блеснула улыбка.

«И ты тоже бешеный. И тебя, брат, боят-ся!» — подумал он.

— А вас, Петя, я вот каким маленьким знал! — прибавил нежным тоном беспокойный адмирал, хорошо знавший всю семью Ивкова.

Это фамильярное «Петя» и этот ласковый, интимный тон, по-видимому, были не особенно приятны гардемарину, и он не только не был этим тронут, но счел долгом принять необыкновенно серьезный и строгий вид: «Не размазывай, дескать!»

Совсем еще юный, почитывавший умные книжки и исповедовавший самые крайние мнения, он мечтал по возвращении в Россию «наплевать» на службу и «служить» народу — как, он и сам хорошенько не знал. Нечего и говорить, что он старался держать себя по-дальше от адмирала и его любезностей и часто в кают-компани и в кругу товарищей

Гардемаринов зло подсмеивался над адмиралом, отлично подмечая недостатки, слабости и смешные его стороны, и еще более над теми «трусами» и «льстецами», которые выслушивают его дерзости и лебезят пред ним, и изливал немало гражданских чувств и остроумия в своих стихотворениях на адмирала. Пользоваться чьей-нибудь протекцией он, конечно, считал унижительным, злился, когда ему говорили, что Корнев его «выведет», и бывал в восторге, когда выводил адмирала из себя до того, что тот грозился его повесить на нока-рее, во что Ивков ни на секунду не верил. Живой и увлекающийся, задорный, нетерпимый и несколько прямолинейный, он настраивал себя враждебно к адмиралу уже по тому одному, что тот был «начальство», да еще «отчаянный деспот», не понимающий, что все люди равны, и отдавшийся весь исключительно морскому делу, тогда как есть дела поважнее.

И Ивков, признавая в адмирале лихого моряка, все-таки относился к нему неодобрительно, слишком юный, чтобы простить ему его недостатки, оценить его достоинства и во-

обще понять всю эту сложную и оригинальную натуру.

Только впоследствии, когда он побольше повидал людей и когда жизнь его помяла, он многое простил беспокойному адмиралу и понял его.

Адмирал не замечал этой серьезности Ивкова и продолжал:

— И тогда вы были отчаянный мальчишка. Однажды вы со мной проделали злую-таки шутку... Помните?

— Не помню, ваше превосходительство.

Ивков нарочно протитуловал.

— А я так хорошо помню... Пришел как-то вечером я к вам... Целый день был на вооружении и устал... Сестра ваша, Любовь Алексеевна, пела... Я слушал и задремал... И вдруг вокруг меня смех... Я проснулся и что же?.. На голове у меня кивер... Это вы тогда надели...

И адмирал рассмеялся.

Помолчав, он неожиданно прибавил:

— А теперь я глазастый черт? А?.. Это ведь вы все стихи пишете про своего адмирала?..

— Я, ваше превосходительство...

— Очень хотел бы прочесть... Давеча я слы-

шал только два куплета... А их, верно, много?

— Много...

— Так принесите... Любопытно, как вы меня браните... Очень любопытно...

— Вам мои стихи не понравятся, ваше превосходительство...

— Это уж мое дело.

— Что ж, я принесу! — задорно отвечал Ивков, словно бы говоря: «Я тебя не боюсь!»

— Ну, а теперь я вас попрошу, любезный друг, перевести несколько страниц лоции Кергалета... Книга у меня в кабинете... возьмите, а то вы все будете вздором заниматься... стихи писать... Да скажите гардемаринам, чтобы все пришли ко мне в десять часов... читать будем!.. И знаете ли что, Ивков?.. Ведь я очень люблю вас и хотел бы из вас бравого моряка сделать, да и всех ваших товарищей люблю, а вы все ничего не понимаете... Думаете: адмирал сумасшедший школит вас так, чтоб допечь?.. Ну, да после поймете, когда умнее станете! — каким-то пророческим тоном проговорил адмирал.

И с этими словами вышел из каюты.

## VI

Тотчас же после подъема флага и обычных утренних рапортов о благополучии корвета во всех отношениях господи офицеры, собравшиеся к подъему флага на шканцах, торопливо спустились в кают-компанию, вполне удовлетворенные сегодня внешним видом адмирала. Казалось, он находился в отличном расположении духа — глаза не метали молний, плечи не ерзали, и руки не сжимались в кулаки, — словом, по всем признакам, ничто не предвещало «шторма» и общих «разносов», начинавшихся обыкновенно кратким, далеко не красноречивым, хотя и энергичным по тону предисловием о том, как заветали служить такие доблестные моряки, как Лазарев, Корнилов и Нахимов.

— А вы, господа, как служите-с?

Этот вопрос был, так сказать, штормовым предвестником. Затем начинался самый «шторм», доходивший иногда до степени «урагана», если вспылчивый гнев адмирала поднимался до высшего предела, когда у Снежкова начинало болеть под ложечкой, а у

некоторых дрожали поджилки и замирали сердца.

Не лишено было благоприятного значения и то обстоятельство, что сегодня на вахте Владимира Андреевича ему ни разу не попало. Недаром же он был весел после вахты, не имел чересчур ошалелого вида и не без некоторой хвастливости рассказывал в кают-компании о любезности и приветливости адмирала, хотя подлец Васька и раздражил его, долго не подавая горячей воды для бритья.

— А я уж, признаться, было струсил. Думал, выйдет он сердитый и разнесет за что-нибудь вдребезги, — говорил с добродушной откровенностью Снежков, намазывая маслом ломоть белого хлеба.

— Нервы у вас, Владимир Андреич, того... слабы, хоть, кажется, бог вас здоровьем не обидел... Ишь ведь разнесло вас как, — заметил худой и поджарый маленький лейтенант Николаев. — Кажется, пора бы привыкнуть... Шесть месяцев мыкаемся с беспокойным адмиралом.

— То-то нервы, должно быть...

— Я вот привык, — продолжал маленький

лейтенант с черными усами и бакенбардами, — и отношусь философски. Пусть себе орет как бешеный. Поорет и перестанет.

— Это вы правильно рассуждаете, — вставил пожилой белобрысый доктор, невозмутимый флегматик, которого, по-видимому, ничто никогда не трогало, не удивляло и не возмущало. — Из-за чего расстраивать себе нервы и лишать себя хорошего расположения духа?.. Из-за того, что у нас адмирал беспокойный сангвиник?.. Не стоит...

— Вам, батенька, хорошо рассуждать... Вы, как доктор, стоите в стороне... Вам что? Вам только завидовать можно! — не без досады промолвил Снежков. — А будь вы в нашей шкуре...

— Остался бы таким же философом, поверьте, господа! — насмешливо бросил с конца стола черноволосый юный мичман Леонтьев, с нервным лицом, бойкими глазами и приподнятой верхней губой, что придавало его лицу саркастическое, слегка надменное выражение.

— Конечно, остался бы! — хладнокровно промолвил доктор.

— И кушали бы адмиральскую ругань? — задорно допрашивал мичман.

— И кушал бы...

— Похвальная философия... очень похвальная... Вообще у нас, господа, слишком много философии терпения и покорности. Вот эта самая философия и плодит таких самодуров, как наш адмирал.

— Ишь какой вы прыткий петушок! Скоро, батенька, упрыгаетесь! — снисходительно заметил доктор.

Но еще не «упрыгавшийся» мичман не обратил на эти слова ни малейшего внимания и, закипая, по обыкновению, необыкновенно быстро, продолжал:

— Я еще удивляюсь нашему башибузуку. Право, удивляюсь. Он еще мало ругается и мало разносит... Он еще церемонится...

— По-вашему, мало? — простодушно удивился Снежков.

— Разумеется, шла. Будь я на месте адмирала да имей дело с такими философами долготерпения...

— Что ж бы с ними сделали? Любопытно узнать, Сергей Александрыч? — иронически

спросил маленький лейтенант.

— Я бы еще не так ругал их... Каждый день унижал бы их человеческое достоинство, тренировал бы их, как лакеев... одним словом... был бы вроде Ивана Грозного! — решительно объявил мичман.

— Это с вашим-то радикализмом?

— Именно с моим радикализмом...

— Зачем же такая свирепость, неистовый Сереженька? — спросил недоумевающий его товарищ.

— А затем, чтобы дожидаться, когда наконец лопнет терпение и пробудится человеческое достоинство у терпеливых философов и мне дадут в морду! — не без пафоса выпалил мичман.

В кают-компании раздался смех. Столь решительный образ действий мафического адмирала ради подъема цивических [14] чувств у подчиненных казался чересчур самоотверженным... Ведь выпалит всегда что-нибудь невозможное этот Леонтьев!

Старший офицер поторопился выйти из своей каюты. Он увидал по возбужденному лицу юного мичмана, что речи его могут при-

нять еще более острый характер, и поспешил дать им другое направление.

А Владимир Андреевич, взглянув на открытый люк и заметив мелькнувшие ноги адмирала, испуганно шепнул, присаживаясь к Леонтьеву:

— Адмирал наверху, а люк-то открыт... Он, не дай бог, слышал, как вы проповедовали... Эх, Сергей Александрыч, не петушитесь вы лучше!

— И пусть слышит! — нарочно громко отвечал Леонтьев... — Он слишком умный человек, чтобы не понимать, что мы сами же создаем из него...

— Не пора ли, господа, прекратить этот разговор. Мы, кажется, на военном судне! — внушительно остановил Леонтьева старший офицер — столько же по чувству соблюдения дисциплины, сколько и из желания оберечь молодого мичмана, к которому он чувствовал некоторую слабость, несмотря на его подчас резкие выходки и горячую пропаганду идей, не совсем согласных с морским уставом и строгой морской дисциплиной.

В нем, в этом горяченьком юнце, вступав-

шем в жизнь с самыми светлыми надеждами вскормленника шестидесятых годов и полном негодования ко всему, что казалось ему не соответствующим его идеалам, Михаил Петрович словно видел отражение самого себя в пору ранней молодости, когда и он, несмотря на суровое время начала пятидесятых годов, волновался, увлекался, негодовал и интересовался не одною службой, как теперь.

Наступило неловкое молчание. Необыкновенно тактичный и любимый офицерами старший офицер очень редко обрывал так резко, как сегодня.

Леонтьев тотчас же смолк, сохраняя, однако, на лице вызывающий вид, точно он в самом деле был тираном адмиралом...

А Снежков не ошибся.

До ушей адмирала действительно донеслась негодующая тирада мичмана, оракула молодых товарищей и гардемарин.

## VII

**Ю**ные гардемарины, считавшие себя обиженными судьбою за то, что плавают на флагманском корвете, всегда на глазах у адмирала, были несколько удручены вследствие переданного им Ивковым приказания адмирала собраться у него в каюте к десяти часам.

Нечего сказать, приятно!

Опять этот «Ванька-антихрист» (и такой кличкой окрестило адмирала гардемаринское остроумие!) станет донимать чтением. Заставит слушать какую-нибудь историческую книгу (чаще всего Шлоссера), или биографию Нельсона и описание его сражений, или журнальную статью «Современника» или «Русского слова», почему-либо ему понравившуюся, и начнет после беседовать о прочитанном и экзаменовывать, точно школьников, черт его побери!

А то вдруг примется декламировать Пушкина, Лермонтова или Кольцова. Слушай его и не смей засмеяться, когда он войдет в азарт и гаркнет: «Раззудись плечо, размахнись ру-

ка!» — и взмахнет своей широкой мясистой рукой с короткими пальцами.

А главное — нельзя было предвидеть, чем окончатся эти чтения. Случалось, что после самых, по-видимому, мирных занятий литературой адмирал внезапно переходил «на военное положение», разносил и посылал на салинг.

Одна только хорошая сторона была, по мнению господ гардемарин и кондукторов, в этих чтениях и беседах. «Глазастый дьявол», при всех своих допеканиях гардемарин, не был «копчинкой» [15]. Если чтения бывали по вечерам, то к чаю подавалось в обильном количестве английское печенье и разные вкусные булочки, поедаемые молодыми людьми с такой стремительностью, что Васька, адмиральский лакей, с неудовольствием исполнял приказание адмирала «подать еще». Но не столь приятны были эти угощения, как большая коробка папирос, которая ставилась на столе и во время вечерних, и во время утренних чтений. Кури на даровщинку, да еще отличные русские папиросы и сколько хочешь.

Разумеется, гардемарины, давно пробавлявшиеся манилками, широко пользовались правом насладиться душистым табачком (у «глазастого» его много!) и курили не переставая папироску за папироской, словно намереваясь накуриться на целые сутки, по крайней мере. После каждого чтения в большой коробке оставался лишь десяток-другой папирос, так называемых «стыдливых», что приводило Ваську в несравненно большее озлобление, чем уничтожение печений. Он считал себя, и не без некоторого основания, положительно ограбленным гардемаринами, так как они лишали его возможности красть адмиральский табак в неограниченном количестве и вести торговлю папиросами, продавая их по баснословно высокой цене, в более широких размерах. И Васька не раз докладывал адмиралу, что не хватит запаса табаку, ежели адмирал будет угощать ими целую ораву гардемарин, но каждый раз адмирал посылал Ваську к черту и говорил, что запас так велик, что должен хватить.

— А ежели не хватит, значит, ты крадешь, каналья! — прибавлял адмирал.

— Очень мне нужен ваш табак, — отвечал обыкновенно Васька, делая обиженную физиономию... — Я и сам имею запас, слава богу... Мне вашего не надо.

— То-то, оставь только меня без папирос! — значительно произносил адмирал.

Пока в гардемаринской небольшой каюте, в которой помещалось девять человек, шли толки о том, каким чтением дойдет сегодня адмирал и не огорошит ли он приказанием перевести какую-нибудь английскую статейку, — гардемарин Ивков перебирал плоды своей музыки, поспевавшей адмирала, и, выбрав из многочисленных стихотворений два более или менее цензурных, решил, согласно обещанию, показать их сегодня адмиралу. «Пусть не думает, что я испугался. Пусть прочтет».

Адмирал не уходил в каюту, а разгуливал себе по правой (почетной) стороне шканец, к крайнему неудовольствию рыжего мичмана Щеглова, вступившего на вахту с восьми часов, — того самого коварного мичмана, который до последнего времени был чичероне и переводчиком у Владимира Андреевича

Снежкова и поступил так бессовестно после обеда с англичанкой, потерпевшей кораблекрушение.

Тут же на мостике стоял и командир «Резвого», капитан второго ранга Николай Афанасьевич Вершинин, представительный и высокий брюнет лет сорока, с красивым и румяным, добродушным и несколько истасканным лицом, посматривая на адмирала с тою скрытой неприязнью, какую почти всегда питают командиры судов к флагманам, сидящим у них на судах. А этот флагман был еще такой беспокойный!

Выждав несколько минут в ожидании, не будет ли на нынешний день каких-нибудь особенных приказаний, Николай Афанасьевич наконец спустился вниз, к себе в каюту, и, приказав своему вестовому подавать чай, опустился на диван с видом человека, не особенно довольного своей судьбой, и разлегся в ленивой позе.

Это был хороший моряк, знающий свое дело, смелый и находчивый в критические минуты, но ленивый, беспечный и «слабый» капитан, не пользовавшийся большим автори-

тетом у матросов и офицеров и несколько распустивший последних. Он не заботился о корвете, предоставив все бремя работ старшему офицеру, и командовал судном что называется спустя рукава. Наверху он показывался редко и большую часть времени лежал у себя на диване с книгой в руках, и только когда в море свежело и начинался шторм, Вершинин сбрасывал свою лень и по целым часам выстаивал на мостике, спокойный, зоркий и внимательный. Проходила опасность, и он снова скрывался к себе в каюту или заходил в кают-компанию поболтать с офицерами. Большой жуир, он очень любил долгие стоянки в портах, особенно в таких, где можно было найти много развлечений и — главное — хорошеньких женщин, — и в таких портах все время проводил на берегу, почти не заглядывая на корвет, зная, что там неотлучно находится старший офицер Михаил Петрович. На берегу Вершинин кутил, и об его грандиозных кутежах и похождениях ходили целые легенды, не всегда соответствовавшие достоинству командира русского военного судна. Зато целый цветник хорошеньких женщин

разных национальностей оплакивал отъезд такого веселого и щедрого русского капитана и в Шербурге, и в Лисабоне, и в Рио-Жанейро, и в Каптауне, и в Батавии, и в Сингапуре, и в Гонконге. Довольны были заходами в порты и долгими стоянками, конечно, и офицеры, а высшее морское начальство удовлетворялось рапортами Вершинина, объяснявшего свои заходы и долгие стоянки то безотложностью починок, то необходимостью дать «освежиться», как выражаются моряки, команде после бурного перехода. И потому в рапортах Вершинина переходы всегда сопровождались штормами.

Веселый, мягкий и добродушный сибарит, Вершинин не был особенно разборчив в средствах для удовлетворения потребностей своей широкой барской природы, и так как жалованья ему не хватало, то он с легкомыслием слабого, неустойчивого человека подписывал сомнительные счета поставщиков и не брезговал разными «экономиями».

Нечего и говорить, что с прибытием адмирала, да еще такого беспокойного, как Корнев, окончились «веселые дни Аранхуэца». Прихо-

дилось Николаю Афанасьевичу подтянуться, держать ухо востро и не смотреть на каждый порт, как на Капую. Приходилось более заниматься службой, быть деятельным капитаном и выслушивать адмиральские выговоры.

И адмирал и капитан, как две совершенно разные натуры, далеко не симпатизировали друг другу... Только общая им обоим «морская жилка» несколько примиряла их. Тем не менее адмирал не раз уже подумывал, как бы под благовидным предлогом «сплавить» Вершинина, а Николай Афанасьевич, в свою очередь, нередко мечтал о той счастливой минуте, когда беспокойный адмирал пересядет на одно из других судов эскадры и хоть на некоторое время даст вздохнуть.

## VIII

Не прошло и четверти часа, как капитан Благодушествовал за чаем, закусывая бутербродами с тонкими ломтиками ветчины, как в капитанскую каюту влетел вахтенный унтер-офицер и доложил:

— Вашескобродие! Адмирал приказали в дрейфу ложиться!

«И чаю не даст напиться как следует! И с чего это ему вздумалось вдруг ложиться в дрейф?» — недоумевал Вершинин и, недовольный, что его оторвали от чая, торопливо вышел наверх, застегивая на ходу нижние пуговицы белоснежного жилета, и поднялся на мостик.

— Зачем это в дрейф? — тихо спросил он мичмана Щеглова.

— Не знаю, Николай Афанасьич.

На крьюйс-брам-стеннге уже развевались позывные «Голубчика», и вслед за тем взвились свернутые маленькие комочки и, поднятые до верха мачты ловким движением руки сигнальщика, развернулись пестрыми флагами, обозначавшими сигнал: «лечь в дрейф».

В ту же секунду вахтенный мичман крикнул: «Свистать всех наверх!» Через минуту вся команда была наверху, и старший офицер взбегал на мостик.

И как только сигнал был спущен, на корвете и на клипере одновременно началось исполнение маневра: убраны лишние паруса, фор-марсея поставлены против ветра, а грот-марсея по ветру, и минут через восемь оба судна остановились, почти неподвижные, покачиваясь на океанской зыби, в недалеком расстоянии друг от друга.



Адмирал стоял на полуюте, поглядывая в бинокль на «Голубчик». Невдалеке от адмирала находился флаг-капитан Аркадий Дмитриевич, как всегда — чистенький, прилизанный и прифранченный, в своей адъютантской форме, но душившийся после Сан-Франциско уже не опопонаксом, а пачули, которые пока не вызывали еще неудовольствия адмирала. У мачты, около сигнальных книг, разложенных на люке, и вблизи двух сигнальщиков, бывших у сигнальных флагов, стоял, не спуская быстрых бегающих глаз с адмирала, его флаг-офицер, мичман Вербицкий, шустрый и бойкий молодой человек, отлично приспособившийся к характеру беспокойного адмирала к всегда горевший, казалось, необыкновенным усердием. Его неглупое, озабоченное и серьезное в эту минуту лицо замерло в том служебно-восторженном выражении, которое словно бы говорило, что флаг-офицер готов распластаться ради службы и своего адмирала.

И адмирал благоволил к Вербицкому, — что не мешало, конечно, разносить своего флаг-офицера чаще, чем кого-нибудь другого,

благо он был всегда под рукой, — относился к нему с чисто отеческой нежностью и не предвидел, конечно, какой черной неблагодарностью оплатит ему этот шустрый молодой человек впоследствии.

— Аркадий Дмитрич! Прикажите поднять сигнал, что мичман Петров с «Голубчика» переводится на «Резвый».

— Где, ваше превосходительство, состоится перевод — в Нагасаки?

— Кто вам сказал, что в Нагасаки? — резко крикнул адмирал, раздраженный этим, по его мнению, дурацким вопросом, и уставил на «придворного суслика» свои круглые глаза, выражение которых, казалось, говорило: «И какой же ты, братец, дурак!»

— Я полагал, ваше превосходительство...

— А вы не полагайте-с!.. Перевод состоится здесь же, сейчас... Пусть Петров переберется через полчаса...

— Слушаю, ваше превосходительство, — отвечал флаг-капитан, изумленный этим неслыханным переводом с одного судна на другое среди океана.

«Положительно сумасшедший!» — решил

«придворный суслик» и медленно, слегка изгибаясь туловищем, направился к флаг-офицеру передавать адмиральское приказание.

Эта тихая походка, совсем непохожая на ту, быструю и торопливую, почти бегом, какой обыкновенно ходят моряки, исполняя служебные поручения, мгновенно озлила беспокойною адмирала и, так сказать, переполнила чашу его нерасположения к флаг-капитану. Вся его вылощенная, прилизанная худощавая фигура показалась ему донельзя оскорбляющей его морской глаз и понятие о бравом моряке.

— Этакая...

Он, однако, благоразумно воздержался от произнесения весьма нелестного эпитета женского рода и крикнул, точно ужаленный:

— Аркадий Дмитрич! На военных судах не ползут, как черепахи-с, а бегают-с!..

Флаг-капитан рванулся, точно лошадь, получившая шенкеля.

Распоряжение адмирала удивило и капитана, и всех офицеров, не плававших раньше с ним.

И Николай Афанасьевич, оторванный от

чая и бутербродов, сердито недоумевал: к чему это на «Резвый» назначают еще офицера, когда их и так довольно.

Старший офицер скоро разрешил его недоумение.

— От нас кого-нибудь переведут... Он, верно, не решил еще — кого... Смотрите — думает! — проговорил Михаил Петрович, оглядываясь на адмирала.

Действительно, адмирал ходил по юту в каком-то раздумье.

Наконец, видимо, решивши вопрос, он позвал капитана и сказал:

— Лейтенант Николаев переводится на «Голубчик»... Потрудитесь приказать ему через полчаса собрать все свои вещи и быть готовым уехать на баркасе, который придет с «Голубчика».

— Есть! — отвечал капитан.

— Да пока мы лежим в дрейфе, пусть команда выкупается в океане! — прибавил адмирал. — Вербицкий! Сделайте сигнал: команде «Голубчика» купаться!

Когда маленький лейтенант с черными усами узнал о своем переводе, он, несмотря

на всю свою философию и уверения, что привык к адмиральским разносам, был весьма неприятно изумлен и мысленно изругал адмирала, совсем не сообразуясь с правилами морской дисциплины.

Еще бы! Вместо приятной надежды на Сидней и Мельбурн со всеми их удовольствиями — иди в Новую Каледонию... Ах, глазастый черт! А главное, ведь он второй год плавает на «Резвом». Привык и к доброму графу Монте-Кристо, как называли на «Резвом» подчас капитана Николая Афанасьевича, и к славному старшему офицеру, и к сослуживцам, и к каюте, и к Ворсуньке, своему вестовому... И вдруг... Но сердись не сердись, а надо поскорей собираться.

И моряк, которого судьба была так круто изменена беспокойным адмиралом, побежал вниз, в свою каюту, в которой обжился и где все было так удобно прилажено и убрано, и стал с помощью своего вестового Ворсуньки укладываться с тою быстротой и стремительностью, с какими собирают свои пожитки люди, застигнутые пожаром. Сапоги летели к японской вазе, мундир — к сапожным щет-

кам, и многочисленные фотографии хорошенькой пухлой блондинки (не то невесты, не то кузины — это был секрет лейтенанта) — к грязному белью... Разбирать было нечего. Поневоле приходилось профанировать святы чувства («прости, Нюточка!»)... Всего полчаса времени («ах, проклятый брызгас!»). Надо еще покончить кое-какие делишки: получить у ревизора жалованье за месяц и остаток порционных, отдать старшему артиллеристу сорок долларов долгу и получить — хотя и сомнительно, что сейчас получишь, — десять долларов с одного гардемарина... Надо, наконец, проститься с товарищами.

— Вали, вали, Ворсунька!..

— Боязная штучка, ваше благородие, — говорил вестовой, не зная, куда деть изящный веер из перьев, которым Нюточке предстояло обмахиваться в кронштадтском собрании.

— Заверни в бумагу или... куда, в самом деле, положить?.. Клади в треуголку...

— Как бы не повредить штучку... Штучка нежная, ваше благородие.

— Так заверни, Ворсунька, в одеяло... Жаль мне, брат, что я с тобой расстаюсь...

— И мне жалко, ваше благородие... Славу богу, жили с вами хорошо. Обиды от вас не видал...

— И ты мне служил хорошо... Вот возьми себе этот пиджак... и сапоги старые бери... Ах, Ванька-антихрист! Ах, чертова перечница!

— Премного благодарны, ваше благородие! — проговорил вестовой и подумал: «Ишь как он отчесывает адмирала!»

— Счастливец вы, Василий Васильевич, — проговорил Снежков, останавливаясь у порога каюты.

— Покорно благодарю, хорошо счастье! Вы вот все пойдете в Австралию, а я...

— Так зато, подумайте: ведь не будете адмирала видеть... За одно это я охотно пожертвую всякими Австралиями... Ей-богу...

— Вам надо, Владимир Андрейч, от нервов лечиться...

— Вам вот смешно... Уж я бром принимаю, а как он заорет...

— *Febris gastrica?*

— То-то и есть... Я бы с восторгом с вами «перепустился» [16].

— Суньтесь-ка к адмиралу... Попросите

его...

— Разве это возможно! — вздохнул Снежков.

— То-то невозможно... И кто решится ему об этом сказать... Наш Монте-Кристо у него не в фаворе... Что, Ворсунька, готово?..

— Сию минуту, ваше благородие...

— Ну, простимся, Владимир Андреич... Жаль мне расставаться с нашей кают-компанией.

Оба лейтенанта обнялись и трижды поцеловались.

Переведенный лейтенант побежал проститься с остальными.

Пока шли сборы, команда купалась.

В море был опущен большой парус, укрепленный к борту веревками со всех четырех углов паруса. В этом громадном мешке шумно и весело плескались голые мускулистые тела с побуревшими от загара лицами, шеями и руками. Выплывать из-за этого мешка было строго воспрещено, чтоб не попасть в чудовищную глотку акулы.

Матросы были очень довольны этим нечаянным купаньем. Куда оно лучше и приятнее,

чем эти ежедневные обливания из брандспойта. И среди скученных тел шли веселые шутки, раздавался смех... Все только находили, что очень тепла вода и нет от нее озноба, как в русских реках и озерах. Кто-то сообщил, что купаться выдумал адмирал, и его за это хвалили. Нечего говорить, заботлив он о матросе. Господ донимает, муштру им задает, а матроса жалеет. И прост, — видно, что не брезгует простым человеком...

— Выходи, ребята! Шабаш купаться! — прокричал боцман, получив приказание с вахты.

И матросы один за другим поднимались по выкинутому трапу и, ступив на палубу, словно утки, отряхивались от воды и бежали на бак одеваться.

Адмирал уж начинал обнаруживать нетерпение: он то и дело посматривал на часы и взглядывал, не спускают ли на клипере баркаса. Ужасно копаются... Долго ли мичману собраться?.. Не для того ли он и сделал это перемещение офицеров, чтобы приучить господ офицеров быть всегда готовыми?.. Мало ли какие случайности бывают в море, особенно

в военное время... Пусть привыкают... Пусть знают, что и океан не может служить препятствием...

— Михаил Петрович! — обратился он, переходя с полуяота на мостик, к старшему офицеру.

— Что прикажете, Иван Андреич?

— Нынче у мичманов целые сундуки вещей, что ли? Отчего Петров не едет, а... как вы думаете?

— Еще не прошло получаса, Иван Андреич.

— Когда главнокомандующий приказал мне в Крымскую войну ехать на Дунай, я через двадцать минут уже сидел в телеге, а вы мне: полчаса... Мичману перебраться с судна на судно и... полчаса?..

— Да вы сами назначили этот срок, ваше превосходительство!

— Ну, назначил, а он, как бравый офицер... Ну если бы во время сражения... понимаете... тоже полчаса?

Адмирал не отличался особенным красноречием, и речи его не всегда бывали связны... Вдобавок, во время возбуждения он слегка заикался...

— Во время сражения не надо брать с собой багажа, Иван Андреич...

— Какой у мичмана багаж... Вы, Михаил Петрович, вздор говорите-с...

И адмирал круто повернулся от старшего офицера, к которому очень благоволил, как к отличному моряку...

Уж он в нетерпении стал хрустеть пальцами, сжимая обе руки, как от борта «Голубчика» отвалил баркас и под парусами, то скрываясь в большой океанской волне, то вскакивая на нее, неся к корвету.

Лицо адмирала прояснилось. Баркас шел лихо, и паруса стояли отлично.

«И из-за чего это он каждый день кипятится? Из-за чего никому не дает покоя? — размышлял Николай Афанасьевич, принужденный оставаться наверху, вместо того чтобы кеифовать внизу. — Кажется, и карьера блестящая — человек на виду, всего достиг, чего только можно в его годы, команду спокойно эскадрой, а то нет... всюду сует свой нос, неизвестно для чего переводит в океане офицеров, ссорится с высшим начальством, допекает гардемарин... Чего ему нейметя!»

Так размышлял сибарит Николай Афанасьевич и нетерпеливо ждал: скоро ли окончится вся эта суматоха и он напьется чаю, как следует порядочному человеку.

Баркас пристал к борту, и мичман Петров далеко не с радостной физиономией представился капитану.

— Очень рад служить вместе! — приветливо и добродушно промолвил капитан.

— А вы, господин Петров, отлично шли на баркасе... Здравствуйте... — Адмирал протянул руку. — Только зачем вы так долго собирались?.. Не хотели, что ли, на «Резвый»? — пошутил адмирал.

«Очень даже не хотел!» — говорило кислое лицо мичмана.

— Я, ваше превосходительство, кажется, скоро собрался...

— А мне кажется, что долго-с, — резко проговорил адмирал.

Мичман смутился.

— Надеюсь, вы будете так же хорошо служить на «Резвом», как на «Голубчике»... Мне вас хорошо аттестовал ваш командир... Будем, значит, приятелями! — поспешил под-

бодрить смутившегося мичмана адмирал, только что его оборвавший... — Можете идти.

Когда маленький лейтенант явился откланяться адмиралу, он сказал:

— Прошу не думать, что я перевожу вас по каким-нибудь причинам. Никаких. Считаю вас хорошим офицером... Вам будет небезопасно поплавать на таком образцовом военном судне, как «Голубчик»... С богом, Василий Васильич...

И адмирал крепко пожал его руку.

Через четверть часа оба судна снялись с дрейфа и, поставив все паруса, снова понеслись по десяти узлов в час.

Подвахтенным просвистали вниз, и капитан наконец спустился к себе в каюту и мог основательно заняться чаем.

Ушел к себе и адмирал и через час послал Ваську пригласить к себе господ гардемарин и кондукторов.

Увы, не «промело»!

Они думали, что «прометет», что адмирал после сегодняшнего «дрейфа с сюрпризами» забудет о своем приглашении-приказе (случалось, он забывал, и они, конечно, еще более

забывали), и, следовательно, злосчастливым гардемаринам можно избавиться от собеседования, а тут этот Васька со своей нахальной мордой и с красной жокейской фуражкой в руках... Улыбается, подлец, и с наглой развязностью, фамильярным тоном говорит:

— Не угодно ли, господа, пожаловать к адмиралу. Слезно просит-с. Ждет не дождется!

Надо идти.

Припомнили, кому быть сегодня «жертвами», то есть сидеть по бокам адмирала («жертвами» бывали все по очереди) и чаще других подвергаться экзамену, решили не давать пощады адмиральским папиросам и, приведя свои костюмы и прически в более или менее приличный вид, двинулись из каюты.

Сбитой кучкой, не особенно торопясь, прошли они шканцы, имея «жертв» в авангарде, и за минуту еще жизнерадостные и веселые лица молодых людей имели теперь несколько удрученный вид школьников, шествующих к грозному учителю.

Только лицо Ивкова дышало отважно-решительным выражением, и он ощупывал в

боковом кармане своего люстринового сюртука несколько листиков с обличительными стихотворениями и почему-то воображал себя то в роли маркиза Полы перед Филиппом, то в положении посла князя Курбского перед Иваном Грозным.

## IX

— Очень рад вас видеть... эээ... очень рад. Прошу садиться, господа! — говорил, по обыкновению слегка растягивая, словно приискивая слова, приветливым тоном адмирал, когда несколько молодых людей, в возрасте от шестнадцати до двадцати лет, вошли гурьбой в адмиральскую каюту.

Судя по неестественно серьезным и несколько напряженным выражениям почти всех этих юных, свежих, жизнерадостных загорелых лиц, безбородых и безусых или с едва пробивающимися бородками и усиками, гости, с своей стороны, далеко не испытывали особенной радости видеть любезного хозяина и что-то долго топтались, складывая свои фуражки на бортовой диван, у входа в каюту.

— Да что вы толчетесь там? Садитесь, про-

шу вас! — крикнул адмирал с нетерпеливой ноткой в голосе.

Молодые люди не заставили, конечно, более повторять приглашения, они бросились со всех ног, словно испуганный косячок жеребят, и торопливо уселись вокруг круглого стола, на котором лежало несколько книг и журналов и стояла привлекательная большая коробка зеленого цвета с папиросами. Очередные «жертвы» заняли места по обе стороны адмирала.

Воцарилась мертвая тишина.

Адмирал обводил ласковым взглядом своих «молодых друзей» и, казалось, несколько недоумевал: отчего они не чувствуют себя так же хорошо и приятно, как чувствовал он себя сам в это прелестное утра. И это ему не нравилось.

Действительно, все эти юнцы, обыкновенно веселые и шумливые, какими только могут быть молодые люди на заре жизни, полные надежд, теперь сидели притихшие, с самым смиренным видом, напоминая собой шустрых и проказливых мышей, внезапно очутившихся перед страшным котом.

Положим, он добродушно и, по-видимому, без всякого злого умысла глядит своими большими, блестящими черными глазами, но все-таки... кто его знает?..

Только Ивков, в качестве всеми признанного либерала, да его большой приятель, добродушнейший и милейший штурманский кондуктор Подоконников, который, проглотив с восторгом в Сан-Франциско «Отцов и детей», отчаянно корчил Базарова, стал признавать одни естественные науки и, внезапно приняв решение поступить после плавания в медико-хирургическую академию, надоедал доктору просьбами прочесть ему несколько лекций по физиологии и анатомии, которые тот, разумеется, основательно позабыл, — только оба эти молодые люди старались принять самый непринужденный и независимый вид (дескать, мы не очень-то боимся глазастого черта) и по временам бросали на своих менее мужественно настроенных товарищей сдержанно-иронические взгляды, которые, казалось, говорили:

«Чего вы трусите? Совсем это недостойно свободных граждан!»

«Презренные рабы жестокого тирана!» — мысленно вдруг проговорил Ивков, находившийся, очевидно, в несколько приподнятом настроении человека, собирающегося читать плоды своей гражданской музы самому обличаемому адмиралу и готового, если придется, пострадать за свой «суровый и свободный стих».

Эта эффектная фраза, внезапно пришедшая Ивкову в голову под влиянием недавно прочитанных стихов Виктора Гюго, хоть и кольнула его художественное чутье своею фальшью — особенно в виду коробки с папиросами на столе гостеприимного «жестокого тирана», которого — невольно припомнил Ивков — к тому же и матросы любили, — тем не менее соблазнила семнадцатилетнего поэта, как пикантное начало нового цивического произведения.

И, увлеченный им, он уже мысленно слагал следующие строки, не лишённые, по его не совсем скромному мнению, некоторой значительности:

*Презренные рабы жестокого тирана,*

*О заячьи сердца, лишь знающие  
страх,  
Очнитесь поскорей и жалкого ти-  
тана,  
Как древле Перуна, повергните во  
прах.*

Создавая эти строки, Ивков в поэтическом экстазе, по обыкновению, морщил лоб и, сам того не замечая, строил необыкновенные гримасы, свидетельствовавшие о некоторой мучительности поэтических родов.

И «жестокий тиран», заметивший страдания Ивкова, участливо и необыкновенно ласково спросил:

— Что с вами, Ивков?.. Вы нездоровы?.. У вас такой вид, будто желудок не в порядке, а?.. Идите скорей к доктору...

Все поэтическое настроение сразу пропало у Ивкова, и он ответил, стараясь скрыть свое стыдливое чувство обиженного поэта под сдержанной сухостью тона:

— Я совершенно здоров, ваше превосходительство.

И уж более не продолжал слагать стихов в присутствии адмирала.

А Подоконников, в своем неудержимом стремлении походить на Базарова во что бы то ни стало и не признавать ничего, кроме естественных наук, пошел еще далее, и не в области мысли, а в сфере действий. Находя, что сидеть, как все сидят, не вполне прилично Базарову, он слишком откинулся назад на стуле и чересчур высоко закинул ногу на ногу, приняв не совсем естественную и вовсе неудобную, но зато демонстративную позу человека, окончательно решившего, что после него будет расти лопух, а потому теперь ему на все «наплевать», и был очень доволен, что нисколько не стесняется и в присутствии адмирала походить на Базарова.

Но — увы! — внутреннее торжество юного Базарова длилось всего несколько мгновений, так что никто из товарищей не успел заметить и ахнуть от такого бесстрашия Подоконникова.

Случайный взгляд адмирала, скользнувший по фигуре молодого человека не без некоторого соболезнования к стеснённости его положения, смутил робкую душу юного штурмана, заставив немедленно опустить

«задранныю» ногу, принять более удобную позу и в то же время покраснеть до самых корней своих рыжих волос от смущения и досады за свой страх перед этим «отсталым отцом» и за свое, как он думал, «позорное малодушие».

О, какой он трус и как ему далеко еще до Базарова! Необходимо изучить естественные науки! И какой, однако, свинья этот доктор Арсений Иванович! Он, видимо, не хочет познакомить его ни с физиологией, ни с анатомией, ссылаясь на занятия, а между тем решительно ничего не делает по целым дням и только играет в шахматы или рассказывает глупейшие анекдоты.

— Что же вы не курите, господа? Курите, пожалуйста... Папиросы к вашим услугам, — с обычным своим радушием предлагал хозяин.

И с этими словами он взял коробку, чтобы любезно передать ее гостям, как вдруг потряс ею в руке, заглянул внутрь и гневно крикнул: — Васька!

Окрик этот был так металлически и пронзителен и так напоминал адмирала наверху во

время разносов, что все невольно вздрогнули. У «жертв» от этого крика чуть не лопнули ба-рабанные перепонки, как они утверждали впоследствии.

— Васька! Скотина!

Через секунду-другую влетел Васька, и теперь уже не в ситцевой рубаше и не в туфлях на босые ноги, а в обычном своем щегольском виде адмиральского камердинера, который он принимал после подъема флага, долго и тщательно занимаясь своим туалетом и поражая своим франтовством писарей и вестовых.

Он был в черном люстриновом сюртуке, перешитом из адмиральского, в белой манишке с высокими воротничками, в голубом галстуке, в котором блестела аметистовая булавка в виде сердечка, при часах с толстой серебряной цепочкой, украшенной несколькими брелочками, и в скрипучих ботинках. Его кудластые, с пробором посередине волосы лоснились и пахли от обильно положенной помады.

Он благоразумно остановился в нескольких шагах от адмирала, на случай неожидан-

ной вспышки, и недвижно замер, подавшись вперед корпусом и не без лакейской грации изогнув несколько руки с красными пальцами, виднеющимися из-под широких манжет с блестящими запонками. В его плутовском лице с ярко-румяными щеками и с сверкавшими из-за полуоткрытых толстых губ зубами и в его наглых и лукавых глазах стояло притворное выражение преувеличенного испуга и недоумения.

— Это что? — спросил адмирал, взглядывая на Ваську и потрясая коробкой.

— Папиросы-с! — умышленно наивным тоном отвечал Васька, делая глупую физиономию.

— Болван! Смотри! — проговорил адмирал и швырнул на пол коробку, из которой посыпался десяток папирос.

— Виноват, недосмотрел.

— А ты досматривай, если я приказываю...  
Поддай сейчас полную коробку!

— Есть!

И когда Васька исчез, адмирал, уже снова повеселевший, усмехнулся и, обращаясь к своим гостям, проговорил:

— Экая каналья! Хотел оставить вас без папирос сегодня!.. Да вы постойте, Подоконников, не закуривайте... Васька сию минуту принесет...

— Я, ваше превосходительство, закурю сигару, если позволите, — заметил молодой человек, решивший, что он, как и Базаров, должен курить только сигары.

— И охота вам курить такую дрянь, как ваши чирутки, когда вам предлагают хорошие папиросы...

— Я вообще предпочитаю сигары, ваше превосходительство! — храбро настаивал Подоконников.

— Предпочитаете? А когда это вы, любезный друг, успели научиться предпочитать сигары? Я так по выходе из корпуса, когда был таким же молодым, как вы, ничего не умел предпочитать... Случалось, бывало, мичманом сидеть на экваторе, — и махорку курил... А уж вы сигары предпочитаете? Эй, Васька! Поддай сюда ящик с сигарами... У меня, по крайней мере, хорошие сигары... Впрочем, ведь вы все равно не знаете в них никакого толка... Право, курите лучше папиросы... Со-

ветую вам, Подоконников...

Адмирал так настойчиво советовал, что сконфуженный молодой человек поспешил закурить папиросу, чем, видимо, удовлетворил адмирала, имевшего слабость почти требовать, чтобы все разделяли его вкусы.

Закурили почти все гости, наслаждаясь за-тяжками.

— А ведь не правда ли, любезный друг, что папиросы лучше всяких сигар? — снова обратился он к юному штурману, уже было обрадовавшемуся, что перестал быть предметом адмиральского внимания...

— По-моему, ваше превосходительство, и сигары...

— Да какого черта вы понимаете в сигарах, Подоконников! — перебил, раздражаясь, адмирал, несколько сбитый с толку таким совершенно непонятным пристрастием этого юнца к сигарам. — «Сигары, сигары»! Надо, любезный друг, знать вещи, о которых говоришь... Вот послужите, поплавайте, выучитесь курить хорошие сигары, тогда и говорите. А то курит мерзость и предпочитает сигары... Скажите пожалуйста!.. Так о чем мы по-

следний раз читали, господа? — круто пере-  
менил разговор адмирал и взял со стола том  
«Истории XVIII столетия» Шлоссера.

— О Франции... Когда Наполеон был консу-  
лом, ваше превосходительство! — произнесла  
одна из «жертв» низким баском.

К благополучию этого неказистого, призе-  
мистого молодого человека, «дяди Черномо-  
ра», как звали его за маленький рост, с сон-  
ным взглядом и малообещающим выразиени-  
ем широкого и лобастого лица, который не  
очень-то легко воспринимал науки и хлопал  
на чтениях глазами, адмирал не любопыт-  
ствовал узнать, о чем именно читали.

Он снова обвел взглядом присутствующих  
и, по-видимому, недовольный общим вялым  
и унылым настроением, сам начал терять хо-  
рошее расположение духа. В самом деле, он  
собирает этих «мальчишек» и тратит на них  
время, чтобы развить их и приохотить к заня-  
тиям, чтобы вселить в них дух бравых моря-  
ков, а они... не ценят этого и сидят как в воду  
опущенные!

И вместо того, чтобы начать чтение, адми-  
рал совершенно неожиданно проговорил:

— А я вам должен сказать, мои друзья, что вы ведь невежи...

«Друзья» невольно подтянулись на своих местах.

— Да-с, невежи... Разве воспитанные люди заставляют себя ждать, как вы полагаете?

Никто, разумеется, никак «не полагал» насчет этого, а все только подумали, что глаза-того черта вдруг «укусила муха» и что сам он тоже далеко не воспитанный человек.

— Так, я вам скажу-с, поступают только...

Видимо, сдержавшись от употребления существительного, характеризующего с большою ясностью невежливых людей, адмирал на секунду запнулся и продолжал:

— Только люди, совсем не знающие приличий... Помните это и впредь не ведите себя по-свински, — выпалил адмирал, на этот раз уже не лишивший своей речи образного сравнения, и подернул одним плечом. — Отчего вы не шли и заставили меня посылать за вами, когда я сказал Ивкову, чтобы вы собрались к десяти часам? Ивков, надеюсь, передал вам мое приказание?

Ивкова подмывало принять «венец муче-

ничества» и, по крайней мере, отсидеть часа два на салинге. И он открыл было рот, чтобы самоотверженно принять вину на себя, сказав, что забыл передать товарищам приказание, как дядя Черномор уже добросовестно пробасил, что Ивков приказание передал, чем вызвал в неблагодарном Ивкове мысленное название «идиота».

— Так как же вы смели ослушаться адмирала, а?

Судя по внешним признакам, барометр адмиральского расположения духа не очень быстро падал, и потому адмирал, казалось, охотно удовлетворился бы более или менее правдоподобной отговоркой. Он ждал ответа, и необходимо было отвечать.

И так как обе очередные жертвы, обязанные, по давно установившемуся соглашению, отвечать на все безличные вопросы адмирала, упорно молчали, не умея находчиво со- врать, то исполнить эту миссию охотно взялся маленький, черный, как жук, шустрый и необыкновенно сладкий гардемарин Попригопуло, «потомок греческих императоров», или сокращенно — «потомок», как часто зва-

ли товарищи юного грека, имевшего однажды неосторожность как-то пуститься в генеалогию.

С восторженной почтительностью глядя на адмирала своими «черносливами», большими и масляными, он проговорил вкрадчивым тонким голоском, чуть-чуть шепелявя и плохо справляясь с шипящими буквами:

— Мы, ваше превосходительство, собирались именно в ту самую минуту, когда вы изволили прислать за нами... Часы отстают, ваше превосходительство, в гардемаринской каюте... Необходимо их поправить... На целых десять минут отстают...

Адмирал покосился на «потомка греческих императоров» и усмехнулся. Оттого ли, что ссылка на часы показалась ему слишком нелепой, или просто оттого, что ему не хотелось более «школить» своих «молодых друзей», но только он сразу подобрел и заметил:

— Вперед проверяйте часы, господа... Ну, а теперь почитаем... Прошу слушать-с!

И, раскрывая книгу, прибавил:

— Морскому офицеру надо стараться быть образованным человеком и интересоваться

всем... Тогда и свое дело будет осмысленнее, а вы вот... опаздываете и точно недовольны, что я с вами занимаюсь!

— Помилуйте, ваше превосходительство, мы, напротив, очень довольны! — проговорил «потомок».

Адмирал стал читать одну из глав Шлоссера. Читал он недурно, с увлечением, подчеркивая то, что считал нужным оттенить. Несколько человек слушали с вниманием. Остальные, делали вид, что слушают, неустанно курили и думали, как бы скорее он кончил.

— Да, мои друзья, — заговорил адмирал, прерывая чтение и уставляя глаза на первое попавшееся лицо слушателя, — гениальный человек был Наполеон... Этот немец Шлоссер его не совсем понимает... Вот Тьера прочтите...

Ивкова так и подмывало заявить, что Наполеон, собственно говоря, был великий подлец, и более ничего, который задушил республику и стал тираном. Но он благоразумно решил промолчать. Все равно «глазастого» не убедишь, а он знает, что знает. И Леонтьев то-

го же мнения, что Наполеон подлец, хоть и великий человек... И Подоконников так же думает.

— Да, большой гений был, а флота создать не умел... Англичане всегда били французов на море... Вот хоть бы это Абукирское сражение. Вы, конечно, не знаете Абукирского сражения?.. Вот Ивков стихи пишет и разные глупости читает... романы всякие... а Абукирского сражения тоже не знает!

И адмирал стал рассказывать об Абукирском сражении и — надо отдать ему справедливость — так ярко и картинно, несмотря на недостаток красноречия, нарисовал картину боя, что даже самые невнимательные слушатели в те оживились и внимали с интересом.

— Вы думаете, отчего французов поколотили под Абукиром, хотя французская эскадра была не слабее английской и французские матросы нисколько не уступали в храбрости английским? Отчего везде на море французов били?

И так как ни один из слушателей не отвечал, не рискуя за неправильный ответ быть оборванным, то адмирал, выдержав паузу,

продолжал:

— Оттого, что у французов были в то время болваны морские министры и ослы адмиралы... Они заботились о карьере, а не о флоте и обманывали Наполеона... И у французских моряков не было настоящей выучки, не было школы и того морского духа, который приобретается в частых плаваниях... Помните это, господа!.. Без хорошей школы, без плаваний, во время которых надо учиться, чтобы быть всегда готовым к войне, нельзя одерживать побед!

Проговорив это поучение, адмирал принялся читать.

Против обыкновения, сегодня он отвлекался менее и не рассказывал, придираясь к какому-нибудь случаю, разных эпизодов из службы на Черном море. Часа через полтора адмирал закрыл книгу и проговорил:

— На сегодня довольно.

Не было и экзамена. И все нетерпеливо ждали обычного «можете идти», но адмирал, видимо, еще хотел, как он выражался, «побеседовать с молодыми друзьями» и сказал:

— Вот я сегодня перевел в океане офицеров

с судна на судно. Как вы полагаете, почему я это сделал?

Все «молодые друзья» полагали, что сделал он это потому, что был «глазастый дьявол» и «чертова перечница». Почему же более?

Не рискуя высказаться в таком смысле, все, разумеется, молчали.

И адмирал, казалось, понял, что думали «молодые друзья», и проговорил:

— Вы, конечно, думаете: адмиралу пришла фантазия, он и сделал сигнал? Нет, мои друзья. Я сделал это, чтобы вы все на примере видели, что всегда каждый из вас должен быть готов, как на войне... И знаете ли, что я вам скажу...

Но в эту самую минуту, как адмирал собирался что-то сказать, через открытый люк адмиральной каюты донесся нервно-тревожный и неестественно громкий окрик вахтенного офицера:

— Марса-фалы отдай! Паруса на гитовы! Право на борт!

В этом окрике слышалось что-то виноватое.

Вслед за тем в адмиральскую каюту вбе-

жал вахтенный гардемарин и доложил:

— Шквал с наветра!

Адмирал, схватив фуражку, бросился наверх, крикнув Ваське закрыть иллюминаторы.

Довольные, что шквал так кстати прервал адмиральскую беседу, гардемарины выскочили из каюты, не предвидя, конечно, что этот шквал будет началом такого адмиральского «урагана», которого они не забудут во всю жизнь.

## Х

**Ж**есточайший шквал с проливным крупным дождем уже разразился, словно бешеный, внезапно напавший враг, над маленьким трехмачтовым корветом в двести тридцать фут длины.

Окутав «Резвый» со всех сторон серой мглой, — точно мгновенно наступили сумерки, — он властно и шутя повалил его набок всем лагом и помчал с захватывающей дух быстротой.

Вздрагивая и поскрипывая своим корпусом, накренившийся до последнего предела

корвет чертит подветренным бортом вспенившуюся поверхность океана. Он тут, этот таинственный океан, страшно близко, кипит своими седыми верхушками. Дула орудийкупаются в воде. Палуба представляет собою сильно наклоненную плоскость.

Рев вихря, вой его в вздувающихся и бьющихся снастях и в рангоуте и шум ливня сливаются в каком-то адском, наводящем трепет концерте.

Молодые, неопытные моряки переживали жуткие мгновения. Казалось, вот-вот еще накренил корвет, и он в одно мгновение пойдет ко дну и со всеми его обитателями найдет безвестную могилу.

И многие тихонько крестились.

По счастью, в момент нападения шквала успели убрать фок и грот (нижние паруса) и отдать все фалы. Таким образом, площадь парусности и сопротивления была значительно уменьшена, и шквал, несмотря на мощную свою силу, не мог опрокинуть корвета и только в бессильной ярости гнул брам-стенги в дугу.

Зато, словно обрадованный людской

оплошностью, он с остервенением напал на паруса, не взятые на гитовы (не подобранные). В одно мгновение большой формарсель «полоскал», изорванный в лоскутья, а оба брамсея, лисея с рейками и топсея были вырваны и, точно пушинки, унесены вихрем.

Вахтенный офицер, молодой мичман Щеглов, прозевавший подобравшийся шквал и потому слишком поздно начавший уборку парусов, стоял на мостике бледный, взволнованный и подавленный, с виноватым видом человека, совершившего преступление.

Ужас при виде того, что вышло от его невнимательности, смущение и стыд наполнили душу молодого моряка. Он сознавал себя бесконечно виноватым и навеки опозоренным. Какой же он морской офицер, если прозевал шквал? Что подумает о нем адмирал и что он с ним сделает? Что скажут товарищи и Михаил Петрович за то, что он так осрамился? И нет никакого оправдания. Ведь он видел это маленькое серое злое облачко на горизонте и — что нашло на него? — не обратил на него внимания...

В эту минуту молодому самолюбивому

мичману казалось, что после такого позора жить на свете и влюбляться в каждом порту решительно не стоит.

С чувством смущения и виноватости смотрели на клочки фор-марсея и на сломанные брам-реи и капитан, и старший офицер, и старший штурман, выскочившие наверх и стоявшие на мостике, и старый боцман на баке, и все старые матросы.

Каждый из этих людей, дороживших репутацией «Резвого», как исправного военного корабля, и считавших себя как бы связанными с ним тою особенною любовью, какую чувствовали прежние моряки к своему судну, понимал и еще более чувствовал, что «Резвый» осрамился, да еще на глазах такого моряка, как адмирал, и такого соперника, как «Голубчик», и каждый словно бы и себя считал причастным этому сраму.

И на виновника его было брошено несколько десятков сердитых и укоряющих взглядов. «Осрамил, дескать!»

Даже совсем неморяк, невозмутимый флегматик, белобрысый доктор, шибко струсивший в тот момент, когда повалило корвет, и

тот, когда страх прошел, при виде сердитых, но не тревожных лиц начальства, неодобрительно покачал головой и заметил, обращаясь к тетке Авдотье:

— А еще считает себя моряком!

— И попадет же Щеглову! — промолвил в ответ лейтенант Снежков. — Из-за него и всем нам въедет, — испуганно прибавил он.

Обыкновенно веселый и добродушный наверху, капитан Николай Афанасьевич был сильно раздражен.

— Прозевали шквал!.. Полюбуйтесь, что наделали... Эх! — сдерживая злобное чувство, кинул капитан, подходя к Щеглову и искоса поглядывая тревожными глазами на адмирала, стоявшего на другом конце мостика и уже поводившего плечами...

«Будет теперь история!» — подумал он, поднимая голову и озирая рангоут.

Старший офицер Михаил Петрович, взволнованный не менее самого Щеглова, ничего не сказал ему, но только бросил на него быстрый взгляд из-под очков, но, господи, что это был за уничтожающий взгляд! Глаза добрейшего Михаила Петровича в это мгновение

сверкали такой ненавистью, что, казалось, готовы были разорвать в клочки мичмана, «опозорившего» корвет.

«И ведь новый фор-марсель был!» — пронеслось в ту же секунду в голове старшего офицера, этого заботливого ревнителя и хозяина «Резвого», я он громко, сердито и властно крикнул на бак:

— Стаксель долой!..

Увы!.. От стакселя остались лишь клочки.

Адмирал едва сдерживался и только быстрее и быстрее ерзал плечами.

То спокойно-решительное выражение его лица, которое было в первое мгновение, когда он выбежал наверх, и всегда бывавшее у него в минуты действительной опасности, исчезло, как только его быстрый и опытный морской глаз сразу увидел положение корвета и понял, что никакой беды нет. Шквал сию минуту промчится, и корвет встанет.

И, не обращая никакого внимания ни на сильный крен, ни на ливень, он весь отдавался во власть закипавшего гнева и негодования старого лихого моряка, который видит такой позор, и где же? У себя на флагманском

судне!

Хотя он стоял в неподвижной позе «морского волка», расставив врозь ноги, но все «ходуном ходило» в этой кипучей, беспокойной натуре. Насупившееся лицо отражало душевную грозу. Скулы беспокойно и часто двигались, и большие круглые глаза метали молнии. Руки его то сжимались в кулаки, то разжимались, и тогда толстые короткие пальцы судорожно щипали ляжки, или нервно тербли щетинку усов, или рвали петли сюртука.

Но он еще крепился и молчал и только по временам, подрагивая то одной, то другой ногой, взглядывал на Щеглова и на капитана с видом озлобленного ястреба, собирающегося броситься на добычу.

В самом деле, какой срам!.. Прозевать шквал на военном судне! Потерять паруса!! И у него на глазах!

И вздрагивающие губы его невольно шепчут:

— Болван!.. Скотина!..

Эти ругательства и еще более энергичные слышит только флаг-офицер, стоящий с выра-

жением почтительного трепета сзади адмирала. Тут же, в некотором отдалении, стоит и только что выбежавший флаг-капитан. Он, по обыкновению, прилизан, щеголеват и надушен и стоически мокнет под дождем, но золотушное и хлыщеватое белобрысое лицо его несколько бледно и растерянно — не то от страха перед воображаемой опасностью, не то от боязни попасть «под руку» этого необузданного «животного» и скушать что-нибудь оскорбительное, зная наперед, что заячья его душонка стерпит все, чтоб не испортить блестяще начатой адъютантской карьеры.

И в эту минуту он решает окончательно уехать в Россию. Придет корвет в Нагасаки, и он будет проситься отпустить его по болезни... То ли дело служба на сухом пути, где-нибудь в штабе, с порядочными, благовоспитанными людьми!.. А здесь — и эта полная опасности жизнь, и эти «мужики», начиная с адмирала!

На мостике показался Васька с дождевиком для адмирала в руках и развязно подошел к адмиралу.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, а

то сильно замочит!

— К черту! — цыкнул на него адмирал, и Васька моментально исчез.

Прошло еще несколько мгновений. Адмирал сдерживался. Но гроза, бушующая в душе его, требует разрядки. Более молчать нет сил.

И, словно получивший в спину иголку, он подлетел к мичману и, остановив на нем глаза, сделавшиеся вдруг совсем круглыми, и вращая белками, пронзительно крикнул ему в упор:

— Вы... вы... Знаете ли, кто вы?..

Ему стоило, видимо, больших усилий (или, вернее, гнев не дошел до полной потери самообладания), чтоб не сказать мичману Щеглову, кто он такой в эту минуту, по мнению адмирала.

— Вы... вы... не морской офицер, а... прачка! — закончил он совершенно неожиданно для присутствующих и, вероятно, для самого себя... — Прачка! — повторил он, готовый, казалось, своими выпученными глазами съесть живьем мичмана...

А мичман, весьма ревниво оберегавший

чувство своего достоинства и не раз «разводивший» с адмиралом, теперь виновато и сконфуженно слушал, приложив свои вздрагивающие пальцы к козырьку фуражки, и настолько чувствовал себя виновным, что, схвати его в эту минуту адмирал за горло и начини его душить, — он беспрекословно выдержал бы и это испытание.

Ведь он прозевал шквал, он, мичман Щеголов, самолюбиво мнивший себя доселе отличным вахтенным начальником, у которого глаз... у, какой зоркий морской глаз!

Обезоружило ли адмирала истинно страдальческое выражение отчаяния на лице злополучного мичмана, который, казалось, вполне сознавал, что ему следует поступить в прачки, а не служить во флоте, или просто случайно брошенный адмиралом взгляд на Монте-Кристо отвлек его внимание, но только адмирал оставил «мичмана-прачку» в покое и с большею резкостью в тоне сказал, обращаясь к капитану и отряхиваясь от воды:

— У вас, Николай Афанасьевич, не военное судно, а кафешантан-с! Срам! Вы ни за чем не смотрите... Офицеров распустили, и вот...

Монте-Кристо, и сам раздраженный и сконфуженный, слушал эти резкие обидные слова, оскорблявшие в нем самолюбивого и знающего свое дело моряка, с напускным хладнокровием несправедливо обиженного человека, который не оправдывается, хорошо зная тщету оправданий и требования дисциплины.

«Ори, братец, ори, на то ты и беспокойный адмирал!» — говорило, казалось, официальное-серьезное выражение его полного, румяного и потасканного лица веселого жуира.

Эта сдержанность, понятая адмиралом как возмутительное равнодушие капитана к своему делу, взорвала его еще более, и он, словно бешеный, выкрикнул:

— Не корвет, а кабак! Ка-бак!

И с этим окриком он круто повернулся и перешел на другой конец мостика. Там он остановился, взволнованный и грозный, словно туча, еще насыщенная электричеством, готовый и ограничиться этой вспышкой и вновь забушевать еще с большей силой, разразившись ураганом.

И то и другое было одинаково возможно в

этой бешеной, порывистой и страстной натуре адмирала, наивно-деспотичной и стихийной, как и любимое им море.

— Срам... позор!.. — взволнованно шептал он.

И весь вздрагивал, гневно сжимая кулаки, когда его выпученные и злые теперь глаза останавливались на трепавшемся фор-марселе — этом ужасном свидетельстве служебной небрежности, возмущавшей и приводившей в ярость вскормленника черноморских лихих адмиралов, прошедшего суровую школу службы у этих рыцарей долга и вместе с тем отчаянных и подчас жестоких деспотов.

Господа офицеры, выскочившие из кают-компании, осторожно прятались за гот-мачту, чтобы не попасться на глаза адмиралу. Только храбрый мичман Леонтьев, проповедовавший теорию деспотизма во имя свободы, да батюшка Антоний решились показаться на шканцах.

Гардемарины, ровно шаловливые мыши, сбились у трапа и поглядывали на адмирала, который только что рассказывал им об Абукирской битве и так любезно угощал их папи-

росами, а теперь...

— Задаст сегодня «глазастый черт» Абукирское сражение! — говорил с насмешливой улыбкой Ивков своему другу Подоконникову. — Вот увидишь... Смотри, каким он глядит Иваном Грозным... А ведь в самом деле Щеглов «опрохвостился!» — прибавил юный моряк, чувствуя невольную досаду на Щеглова и несколько обиженный за честь своего корвета.

## XI

Сделав столько вреда, сколько было возможно в одну, много две минуты жестокой схватки с корветом, грозный шквал стремительно понесся далее, заволакивая широкой полосой мглы горизонт по левую сторону корвета.

А справа и над «Резвым» уже все очистилось и радостно просветлело.

Снова ярко сверкало раскаленное солнце, быстро высушивая своими палящими, почти отвесными лучами и мокрую палубу, и намокшие, вздутые снасти с дрожащими на них и сверкающими, как брильянты, дождевыми

каплями, и прилипшие к спинам белые матросские рубахи. Снова мягко и нежно сияла голубая лазурь страшно высокого неба с плывущими по нем перистыми, ослепительной белизны облачками, и снова океан с тихим ласковым гулом катил свои волны. Прежний ровный норд-вест раздувал вымпел и адмиральский и кормовой флаги. Чудный прозрачный воздух дышал острой свежестью, как бывает после гроз.

«Резвый» уже поднялся, и бег его становился все тише и тише. Опять были поставлены все уцелевшие паруса, и вслед за тем раздалась команда: «свистать всех наверх». Надо было менять фор-марсель, поднять новые брам-реи, привязать и поставить новые паруса взамен унесенных шквалом.

Бедный «Резвый» походил теперь на птицу с выщипанными перьями и еле подвигался вперед.

А сбоку, на ветре, в близком расстоянии «Голубчик», уже весь сверху донизу покрытый парусами и стройный, красивый и изящный, словно гигантская белоснежная чайка, грациозно и легко скользил по океану, чуть-

чуть накренившись и заметно убегая вперед.

Видно было, что шквал напрасно бесновался, напавши на клипер, встретивший врага с оголенными мачтами. На «Голубчике» не прозевали и вовремя убрали все паруса.

И сконфуженные моряки с оплошавшего и оципанного «Резвого», начиная с самого адмирала и кончая маленьким кривоногим сигнальщиком Дудкой, смущенно, словно бы виноватые, посматривают на «Голубчик», блестящий и щегольской вид которого еще более подчеркивает посрамление «Резвого» и расстраивает свежую общую рану.

«Голубчик» уходил, и адмирал, несмотря на гнев, невольно залюбовавшийся клипером, уже снова нахмурил было брови за то, что спутник осмелился удаляться, как вдруг лицо адмирала прояснилось.

Словно бы волшебством на «Голубчике» исчезли все верхние паруса и убран был пузатый грот. И клипер пошел тише, поджидая своего закопавшегося товарища.

— Поднять сигнал «Голубчику», что я изъясляю ему свое особенное удовольствие! — приказал, слегка поворачивая голову к флаг-

офицеру, адмирал.

Через минуту сигнал уже взвился на крюйс-брам-рее.

А адмирал нарочно громко, чтоб слышали все стоявшие на мостике, продолжал, ни к кому не обращаясь, точно говоря сам с собой:

— Вот это военное судно, а не... кафешантан. Видно, что там понимают, как надо служить... Там офицеры не распущены... Там теперь смеются над позором флагманного корвета... Это черт знает что такое!..

Монте-Кристо только морщился и тревожно взглядывал на фор-люк, откуда должны были вынести новые паруса. Уж прошла минута, другая, третья, а фор-марсель не несли, и капитан волновался, нервно пощипывал свои холеные усы, и все его мысли заняты были фор-марселем.

Старший офицер Михаил Петрович, распряжавшийся авралом, точно ужаленный жгучим чувством ревности к «Голубчику», где старшим офицером был его большой приятель и такой же славный моряк, как и он сам, и с которым они соперничали в знании всех тонкостей морского дела, — еще нетерпели-

вее, громче и сердитее крикнул:

— На баке! Что же фор-марсель? Скорее фор-марсель!

В этом крике, полном нетерпения и досады, чуткое ухо моряка услышало бы и нотку мольбы и страдания. Оно отражалось и в нервно напряженном лице Михаила Петровича, и во всей его перегнувшейся через поручни длинной фигуре, и в этой распростертой вперед длинной руке, которая, казалось, протягивалась за марселем.

Он весь теперь был поглощен одной мыслью — скорей переменить паруса. Ничего другого не существовало в мире в эту минуту, и он, как Ричард III, готов был воскликнуть: «Марсель, подавайте марсель, всю жизнь за марсель!»

«Господи! Неужели мы опять опозоримся и не поставим скоро всех парусов?! За что же такое наказание! Боже, помоги!» — мысленно произносил он молитву и еще более подавался вперед, точно этим движением рассчитывал ускорить появление желанного, свернутого в виде длинного кулька, большого паруса.

Но прошла еще длинная, казавшаяся вечностью минута, а паруса не несли. Все как-то угрюмо и вместе сконфуженно смотрели на бак; на палубе царила мертвая тишина.

— Михаил Петрович! Что ж это такое? — голосом, полным жалобы и страдания, шепнул капитан, и вся его полная высокая фигура и его румяное лицо выражали мучительную боль.

Но Михаил Петрович, казалось, не слышал. Его обыкновенно доброе, славное лицо внезапно исказилось бешеным животным гневом, и руки тряслись. И он крикнул дрожащим, задыхающимся, злобным голосом:

— Фор-марсель подать! Боцмана послать!..

С уст его слетела в дополнение самая грубая ругань, и он, словно полоумный, бросился с мостика на палубу и с распростертыми руками побежал на бак и ринулся в подшкиперскую.

Адмирал в нетерпении ходил взад и вперед по полуюту, словно зверь в клетке, и по временам бешено мял в руках свою фуражку и яростно бросал ее на палубу.

Глядя на всех этих беснующихся моряков,

посторонний человек подумал бы, что попал в бедлам.

Но это были «цветочки».

## XII

В эти несколько минут, которые казались нетерпеливым морякам наверху долгими часами, в подшкиперской каюте, заваленной парусами, тросами, блоками и разными другими принадлежностями судового запаса, подшкипер с лихорадочною торопливостью искал новый, запасный фор-марсель.

На этого старого доку и «чистодела», каким был, как почти все подшкипера, унтер-офицер Артюхин, сегодня нашло какое-то затмение. В порядке содержавший подшкиперскую и знавший на память, где что лежит, он, словно обезумевший, метался в небольшой темноватой каюте-кладовой, отыскивая в огромной куче парусов фор-марсель и оглашая каюту отчаянными проклятиями и ругательствами, без которых, по-видимому, поиски его не могли бы увенчаться успехом.

А в открытые двери подшкиперской, около которой в ожидании марселя стояли матро-

сы, поглядывая на беснующегося Ивана Митрича, то и дело доносился сверху зычный голос боцмана, все с большим и большим нетерпением посылавшего через люк морские приветствия, и, наконец, перешел в какой-то безостановочный рев сплошной ругани, напомилавший подшкиперу, что наверху ожидают марсель далеко не с ангельским терпением, и заставлявшей Артюхина, в свою очередь, усиливать энергию и выразительность собственной ругательной импровизации.

— Ах ты, сволочь!

С этими словами старый подшкипер, — на плутоватом лице которого, по выражению матросов, «черти играли в свайку», до того оно было изрыто оспой, — с свирепым озлоблением рванул изо всей силы край одного из парусов и, осыпав марсель новой руганью, словно живое, безмерно виноватое перед ним существо, указал на него окровавленными пальцами и истступленно крикнул:

— Тащи его, подлеца, братцы!.. Чтоб ему...

В тот самый момент, как несколько человек матросов вытаскивали из подшкипер-

ской свернутый в длинную широкую колбасу парус, в кубрике показался старший офицер Михаил Петрович, весь бледный; с лицом, искаженным страданием и злобой.

— Артюхин! — крикнул он задыхающимся голосом, пропустив матросов с фор-марселем.

— Яу! — отозвался подшкипер, показываясь из каюты, как рак красный, обливающийся потом и с угрюмо-виноватым видом человека, чувствующего великость своей вины и готового по меньшей мере недосчитаться нескольких зубов.

Действительно, было несколько мгновений, во время которых, судя по выражению лица старшего офицера и по сжатым простертым его кулакам, физиономии подшкипера грозила серьезная опасность быть искровяненной, и Артюхин уже заморгал глазами, готовясь к «бою».

Но Михаил Петрович, видимо, овладел собой и только взвизгнул, поднося кулак к самому носу подшкипера:

— У-у-у-у... подлец!

И, стремительно повернувшись, вылетел наверх и понесся бегом на мостик.

Но страдания старшего офицера не прекратились, хотя фор-марсель и был подан. Сегодня, как нарочно, на «Резвом» неудача шла за неудачей.

Когда свернутый парус стали поднимать к марсу, чтобы затем привязать к рее, веревка в каком-то блочке «заела», и — можете ли вообразить ужас моряков «Резвого»? — марсель остановился посередине, повиснув на снастях, и дальше не шел.

Позор, да еще на глазах у «Голубчика», был полнейший.

Марсовой старшина неистово дергал с марса «заевшую» снасть и, разумеется, костил ее так, как только может костить сквернословие лихого и долго служившего во флоте унтер-офицера. Сконфуженный и освирепевший боцман не очень громко, чтобы не было слышно на юте, но очень энергично выбрасывал из своего горла, словно бы из фонтана, отчаянную ругань на марс и снизу тряс и раздергивал веревку, которая почему-то не шла.

«Неужто он в горячке недосмотрел, что неправильно привязали внизу парус, и его придется снова спустить и перевязать?» — в

ужасе думал он, выпаливая, как бы в отместку за такие мысли, какое-то невероятное по смелости фантазии и вдохновения ругательство.

Владимир Андреевич Снежков, заведовавший фок-мачтой, стоял около нее ни жив ни мертв. С ошалелым лицом, глупо вытаращенными глазами и раскрытым ртом растерянно смотрел он на застрявший фор-марсель с выражением отчаяния и страха, то и дело оглядываясь назад, на ют, где бешено носилась взад и вперед коренастая фигура адмирала, и чувствовал, как у него засасывает под ложечкой и схватывает поясницу.

— Боцман... Злодей ты эдакий! — говорил он, не понимая, где это «заело».

— В блоке, должно, не пускает! — сердито отвечал боцман, продолжая потряхивать снасть.

Прошло еще несколько томительных секунд.

Фор-марсель не шел.

— Михаил Петрович! Что ж это такое? — произнес капитан страдальческим тоном, обращаясь к старшему офицеру.

Бедный старший офицер, страдавший, казалось, более всех, только сделал гримасу, точно от сильной зубной боли, и резко и раздраженно ответил:

— Сами видите, что такое!.. Позор!

И крикнул отчаянным тенором *di forza*:  
[17]

— На баке! Отчего фор-марсель не идет?

— Гордень заел! — ответил тоненькой фистулой Снежков.

— Очистить живей!

И старший офицер, не очень-то доверявший распорядительности Владимира Андреевича, хотел было бежать на бак, посмотреть, в чем дело, как вдруг сзади, с полуюта, — раздался такой пронзительный крик, который заставил и старшего офицера, и всех бывших вблизи невольно вздрогнуть.

— Э-э-э... о-о-о-о! — кричал адмирал, словно бы испуганный.

В этом бешеном крике, полном стихийного необузданного гнева, было что-то, напоминавшее грозный рев разъяренного зверя.

Когда крик прекратился, все бывшие на палубе «Резвого» в этот ясный сентябрьский

день 186\* года увидали зрелище, довольно странное для неморяков.

Почтенный сорокашестилетний адмирал, начальник эскадры, с налитыми кровью глазами и сжатыми кулаками топтал бешено ногами свою фуражку, выделявая при этом самые невероятные танцевальные па.

Пляска эта, похожая на воинственную пляску краснокожих индейцев, как изображают ее в иллюстрациях, продолжалась несколько секунд.

Вслед за пляской адмирал поднял истоптанную фуражку, надел ее и, подбежав к капитану, возопил:

— Под суд!.. Ка-бак... Фор-марсель!.. Фор-марсель поднимайте!.. Под суд!.. И вас, и старшего офицера, и всех... Всех...

Но эти сравнительно мягкие слова разве могли облегчить его переполненное гневом сердце?..

И, точно негодуя, что нельзя облегчить душевную ярость более энергическими словами и сию же минуту отдать под суд и приговорить к расстрелянию капитана, на судне которого такой разврат, адмирал отскочил от

Николая Афанасьевича и, перескакивая по несколько ступенек трапа, понесся сам на бак, разражаясь ругательствами...

Все сторонились, давая дорогу адмиралу, который с легкостью молодого мичмана бежал по палубе, прыгая через снасти. Офицеры скрывались за мачты. Гардемарины притаились на своих местах. Царила мертвая тишина на палубе, оглашаемая адмиральским криком.

Только среди матросов по временам слышался сдержанный шепот. Чуть, слышно кто-нибудь говорил соседу:

— Осерчал ведмедь... Ровно под микитки его хватили...

— И то: осрамился конверт.

— Накладет же он в кису тетке Авдотье!

Когда адмирал долетел до бака, позорно застрявшего фор-марселя уже не было. Он был поднят и, подхваченный с марса, растянута вдоль реи, к которой торопливо привязывали его лихие марсовые «Резвого», рассыпавшиеся по рее, по обе стороны марса, точно белые муравьи в своих белых штанах и рубахах.

Словно разъяренный бык, внезапно поте-

рванный из глаз раздражавший его предмет и с разбега остановившийся, бешено и изумленно поводя глазами и ища, кого бы боднуть, адмирал гневно вращал белками, озираясь по сторонам. Около был только боцман, не спускавший с адмирала глаз. Но гнев адмирала искал офицера, и он крикнул:

— Где мачтовый офицер?

— Я здесь, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ство! — скорее пролепетал, чем проговорил Владимир Андреевич упавшим голосом, прикладывая дрожащие пальцы к козырьку фуражки и показываясь из-за мачты, за которой прятался.

Что-то бесконечно жалкое, растерянное и испуганное было во всей его рыхлой, подавшейся вперед фигуре, в этом побледневшем полном лице, в этом дрожавшем, визгливом тенорке.

Адмирал уставился на Владимира Андреевича и, казалось, придумывал, что сделать с офицером, у которого не могли сразу поднять фор-марселя.

Прошло несколько мгновений. У тетки Авдотьи душа ушла в пятки, и он, как очарован-

ная овца перед страшным удавом, впился ошалелым взором в выкаченные, метавшие молнии глаза адмирала.

Но, по-видимому, этот перепуганный и побледневший лейтенант не возбуждал в адмирале ярости и желания растерзать его. Не такой человек нужен был в эту минуту его освирепевшему превосходительству!

И, словно бы считая Снежкова недостойным быть предметом своего гнева, адмирал только смерил его с ног до головы уничтожающим взглядом и крикнул ему в упор не столько гневно, сколько презрительно:

— Баба! Баба!.. Баба-с!

И, круто повернувшись, пошел назад, чувствуя неодолимое желание что-нибудь сокрушить, кого-нибудь разнести вдребезги, так как грозовая туча, сидевшая в нем, была еще не разряжена.

Подходя к шканцам, он увидел Леонтьева, того самого невоздержного на язык мичмана, который еще сегодня утром в кают-компании проповедовал возмутительные вещи. Он стоял у грот-мачты с пенсне на носу и — казалось адмиралу — имел возмутительно спо-

койный и даже нахальный вид человека, воображающего о себе черт знает что.

«Ах он... скотина! Как он смеет?!»

И адмирал в ту же секунду возненавидел мичмана и за его противные дисциплине мнения, и за его нахальный вид, олицетворявший распущенность офицеров, и за его равнодушие к общему позору на корвете. Но, главное, он нашел жертву, которая была достойна его гнева.

Отдаваясь, как всегда, мгновенно своим впечатлениям и чувствуя неодолимое желание оборвать этого «щенка», он внезапно подскочил к нему с сжатыми кулаками и крикнул своим пронзительным голосом:

— Вы что-с?

— Ничего-с, ваше превосходительство! — отвечал официально-почтительным тоном мичман, несколько изумленный этим неожиданным и, казалось, совершенно бессмысленным вопросом, и, вытягиваясь перед адмиралом, приложил руку к козырьку фуражки и принял самый серьезный вид.

— Ничего-с?.. На корвете позор, а вы ничего-с?.. Пассажиром стоит с лорнеткой, а? Да

как вы смеете? Кто вы такой?

— Мичман Леонтьев, — отвечал молодой офицер, чуть-чуть улыбаясь глазами.

Эта улыбка, смеющаяся, казалось, над бешенством адмирала, привела его в исступление, и он, словно оглашенный, заорал:

— Вы не мичман, а щенок... Щенок-с! Щенок! — повторял он, потряхивая в бешенстве головой и тыкая кулаком себя в грудь... — Я собью с вас эту фанаберию... Научу, как служить! Я... я... э... э... э...

Адмирал не находил слов.

А «щенок» внезапно стал белей рубашки и сверкнул глазами, точно молодой волчонок. Что-то прилило к его сердцу и охватило все его существо. И, забывая, что перед ним адмирал, пользующийся, по уставу, в отдельном плавании почти неограниченной властью, да еще на шканцах [18], — он вызывающе бросил в ответ:

— Прошу не кричать и не ругаться!

— Молчать перед адмиралом, щенок! — возопил адмирал, наскакивая на мичмана.

Тот не двинулся с места. Злой огонек блеснул в его расширенных зрачках, и губы вздра-

гивали. И, помимо его воли, из груди его вырвались слова, произнесенные дрожащим от негодования, неестественно визгливым голосом:

— А вы... вы... бешеная собака!

На мостике все только ахнули. Ахнул в душе и сам мичман, но почему-то улыбался.

На мгновение адмирал ошалел и невольно отступил назад.

И затем, задыхаясь от ярости, взвизгнул:

— В кандалы его! В кан-да-лы! Матросскую куртку надену! Уберите его!.. Заприте в каюту! Под суд!

Мичман Леонтьев не дожидался, пока его «уберут», и спустился вниз, сопровождаемый сочувственными взглядами гардемарина Ивкова и кондуктора Подоконникова.

А бешеный адмирал взбежал на мостик и кричал, обращаясь к капитану:

— Полюбуйтесь, какие у вас офицеры... Позор... Вас под суд... Под суд... Тьфу! Кабак... Тьфу!

И, точно не находя слов и желая выразить полное презрение к судну, он яростно плюнул (за борт, однако) и бросился с трапа.

Громко стукнувшая дверь доложила, что адмирал ушел в каюту.

Там он рванул с себя сюртук так, что отскочили пуговицы, и, бросив его на пол, забегал, точно раненый вверх в своем логове.

### XIII

Минут через двадцать «Резвый» уж не имел вида ощипанной птицы и, поставив все паруса, понесся, разрезывая волны, и нагонял «Голубчика».

Аврал был кончен. Подвахтенных просвистали вниз.

Мичман Щеглов, прозевавший шквал, совсем убитый, снова поднялся на мостик, вступая на вахту, и сконфуженно и виновато взглянул на капитана и старшего офицера, которые оба были мрачны и угрюмы после того, что произошло на корвете.

Особенно ему было стыдно перед Михаилом Петровичем, и Щеглов не мог не сказать ему:

— Я, право, не могу понять, как это случилось, Михаил Петрович!..

— Вперед не зевайте на вахте, батенька!..

Ну, нечего так отчаиваться!.. — прибавил он, заметив отчаяние Щеглова... — Со всяким может случиться грех.

— А адмирал не запретит мне стоять на вахте, Михаил Петрович? Ведь это было бы ужасно...

— Не думаю... А впрочем, кто его знает... Сегодня он совсем бешеный! — заметил он, спускаясь вслед за капитаном вниз.

Все господа офицеры сидели в кают-компании, подавленные, удрученные и взволнованные и «позором» корвета, и адмиральским «ураганом», и, главное, судьбой этого отчаянного «Сереженьки», который решился назвать адмирала, да еще на шканцах, «бешеной собакой».

Что-то будет с бедным Леонтьевым?

— Непременно он его отдаст под суд, и Сереженьку разжалуют в матросы! — говорил Снежков, все еще не пришедший в себя несмотря на то, что сам он сегодня довольно-таки дешево отделался, скушавши только «бабу».

— Как вы думаете, Михаил Петрович, отдадут Леонтьева под суд? — обратился Снежков

к старшему офицеру, который молча и угрюмо дымил папироской, сидя на своем почетном месте, на диване.

— А никак не думаю! — сердито отвечал старший офицер, желая избавиться от расспросов и втайне, кажется, одобрявший поступок своего любимца.

— Если и не под суд, то, во всяком случае, выгонят со службы... Бедный Сергей Александрович! Ни за что пропала карьера человека!.. Вот и допрыгался! Я всегда говорил, что надо быть философом и не лезть на рожон... Ну, поорал бы и перестал... А теперь?.. Эй, вестовые! Подай-ка мне портерку! — приказал доктор.

Старший офицер искоса поглядел на доктора недовольным взглядом.

«Стыдно, дескать, упрекать товарища, да еще в беде!»

— А что адмирал с эскадры ушлет Сергея Александровича, это как бог свят! — вставил пожилой артиллерист...

— И то счастливо отделается...

— Дай-то бог, чтобы этим отделался... Только вряд ли... Подумайте: на шканцах!.. Неда-

ром адмирал грозил матросской курткой... Ах, Сереженька! — участливо вздохнул Снежков. — Пойти его проведать...

— Нельзя-с! — резко промолвил старший офицер. — Он под арестом, и часовой у его каюты.

— А я вам скажу, господа, что ничего Сергею Александровичу не будет! — совершенно неожиданно проговорил старший штурман, доселе хранивший молчание.

Все, исключая старшего офицера, удивленно взглянули на штурмана, точно он сказал нечто несообразное.

— Что вы удивились?.. Я не наобум говорю... Я знаю адмирала... Слава богу, плавал с ним... И был случай, да и не такой, а поядовитее, можно сказать... Помните, Михаил Петрович, на «Поспешном» историю с Ивановым, штурманским офицером?

Михаил Петрович молча кивнул головой.

— Какая история? Расскажите, Иван Иванович! — обратилось несколько голосов к седенькому старичку.

— А история простая-с. Тоже взъерепенился адмирал однажды так же, как сегодня,

только по другому поводу... Карту, видите ли, штурманский офицер ему не скоро подал... Ну, адмирал и осатанел, да и ругнул, знаете ли, его по-русски... А Иванов, хоть и штурман-с, маленький человечек, а все-таки имел свою амбицию и не стерпел, да и ответил ему на том же русском диалекте-с...

И старый штурман одобрительно хихикнул.

— Ну и что же?

— А ничего... Адмирал спохватился и говорит: «Я не вас, а в третьем лице!» — «И я, — отвечал штурман, — в третьем лице, ваше превосходительство!» Тем все и кончилось... Никакого зуба не имел против него и, как следует, по окончании плавания к награде его представил... Он хоть и бешеный, но справедливый и добрый человек... Мстить из-за личностей не будет!.. Видно, не знаете вы, господа, адмирала! — заключил штурман.

Не знал его, конечно, и Леонтьев и, сидя под арестом в каюте, находился в подавленно-тревожном состоянии духа, вполне убежденный, что ему грозит разжалование. Как-никак, а ведь он совершил тягчайшее пре-

ступление, с точки зрения морской дисциплины. Положим, он был вызван на дерзость дерзостью «глазастого черта», но ведь суд не примет этого во внимание. Морской устав точен и ясен — разжалование в матросы.

И Леонтьев проклинал этого «башибузука», неизвестно за что набросившегося на него, проклинал и ненавидел, как виновника своего несчастья. И все-таки не раскаивался в том, что сделал. Пусть видит, что нельзя безнаказанно оскорблять людей, хотя бы он и был превосходный моряк... Пусть... его разжалуют... Он и матросом запалит ему в морду, если адмирал станет позорить его человеческое достоинство...

И, вспомнив, как его, мичмана, называли «щенком», молодой человек стиснул зубы и инстинктивно сжал кулаки, охваченный негодованием...

О господи! Как еще утром он был весел и счастлив, и вдруг теперь из-за этого «бешеного животного», из-за этого «самодура» вся будущая жизнь его представляется каким-то мраком...

Молодой человек бросился на койку и про-

бывал заснуть, чтоб избавиться от грустных мыслей. Но, слишком взволнованный, он заснуть не мог и снова стал думать о своей будущей судьбе, о матросской куртке, об адмирале...

Прошел так час, как дверь его каюты открылась, и вошел вахтенный унтер-офицер.

— Ваше благородие, вас требует адмирал.

«Чего еще ему надо от меня?» — подумал со злостью мичман и спросил:

— Где он? Наверху?

— Никак нет, в каюте!

Леонтьев вскочил с койки и, поднявшись наверх, вошел в адмиральскую каюту с мрачным и решительным видом на все готового человека, полный ненависти к адмиралу.

## XIV

Взволнованный, но уже не гневным чувством, а совсем другим, беспокойный адмирал быстро подошел к остановившемуся у порога молодому мичману и, протягивая ему обе руки, проговорил дрогнувшим, мягким голосом, полным подкупающей искренности человека, сознающего себя виноватым:

— Прошу вас, Сергей Александрович, простить меня... Не сердитесь на своего адмирала...

Леонтьев остолбенел от изумления — до того это было для него неожиданно.

Он уже ждал в будущем обещанной ему матросской куртки. Он уже слышал, казалось, приговор суда — строгого морского суда — и видел свою молодую жизнь загубленной, и вдруг вместо этого тот самый адмирал, которого он при всех назвал «бешеной собакой», первый же извиняется перед ним, мичманом.

И, не находя слов, Леонтьев растерянно и сконфуженно смотрел в это растроганное, доброе лицо, в эти необыкновенно кроткие теперь глаза, слегка увлажненные слезами.

Таким он никогда не видал адмирала. Он даже не мог представить себе, чтобы это энергичское и властное лицо могло дышать такой кроткой нежностью.

И только в эту минуту он понял этого «башибузука». Он понял доброту и честность его души, имевшей редкое мужество сознать свою вину перед подчиненным, и стремительно протянул ему руки, сам взволнованный, умиленный и смущенный, вновь полный счастья жизни.

Лицо адмирала осветилось радостью. Он горячо пожал руки молодого человека и сказал:

— И не подумайте, что давеча я хотел лично оскорбить вас. У меня этого и в мыслях не было... Я люблю молодежь, — в ней ведь надежда и будущность нашего флота. Я просто вышел из себя, как моряк, понимаете? Когда вы будете сами капитаном или адмиралом и у вас прозевают шквал и не переменят вовремя марселя, вы это поймете. Ведь и в вас морской дух... Вы — бравый офицер, я знаю... Ну, а мне показалось, что вы стояли, как будто вам все равно, что корвет осрамился, и... буд-

то смеетесь глазами над адмиралом... Я и вспылел... Вы ведь знаете, у меня характер скверный... И не могу я с ним справиться!.. — словно бы извиняясь, прибавил адмирал. — Жизнь смолоду в суровой школе прошла... Прежние времена — не нынешние!

— Я больше виноват, ваше превосходительство, я...

— Ни в чем вы не виноваты-с! — перебил адмирал. — Вам показалось, что вас оскорбили, и вы не снесли этого, рискуя будущностью... Я вас понимаю и уважаю-с... А теперь забудем о нашей стычке и не сердитесь на... на «бешеную собаку), — улыбнулся адмирал. — Право, она не злая. Так не сердитесь? — допрашивал адмирал, тревожно заглядывая в лицо мичмана.

— Нисколько, ваше превосходительство.

Адмирал, видимо, успокоился и повеселел.

— Если вы не удовлетворены моим извинением здесь, я охотно извинюсь перед вами наверху, перед всеми офицерами... Хотите?..

— Я вполне удовлетворен и очень благодарен вам...

Адмирал обнял Леонтьева за талию и про-

шел с ним несколько шагов по каюте.

— Присядьте-ка...

И, когда мичман присел, адмирал опустился на диван и, после нескольких секунд молчания, произнес:

— И знаете ли, что я вам скажу, Сергей Александрович, не как адмирал, а как старший товарищ, поживший и повидавший более вашего. Не будьте слишком строги и торопливы в приговорах о людях. Я слышал, что вы сегодня утром говорили в кают-компании... Слышал, каким вы хотели быть адмиралом! — усмехнулся Корнев. — Но только вы все вздор говорили... Положим, я требователен по службе, школю всех вас, но будто уж я такой отчаянный деспот, каким вы меня расписывали, а?.. И знаете ли что? Не услышь я случайно вашего разговора, были бы вы сегодня на «Голубчике»! — неожиданно прибавил адмирал.

Леонтьев удивленно взглянул на адмирала, ничего не понимая.

— Я имел намерение вас перевести на «Голубчик», но после вашего разговора не перевел... А знаете ли почему?..

— Не могу догадаться, ваше превосходительство.

— Чтоб вы не подумали, будто я вас перевожу из-за того, что вы бранили своего адмирала... Теперь поняли?..

— Понял, — отвечал мичман.

— И я рад, что так случилось... Очень рад, что будем вместе. Вы, по крайней мере, убедитесь, что я не такой уж тиран... Поживете, увидите настоящих злых... адмиралов... Тогда, быть может, и вспомните добром такого, как ваш.

— Я никогда не забуду сегодняшнего дня, ваше превосходительство! — порывисто и с чувством произнес молодой человек. — Я никак не ожидал, что вы... так снисходительно отнесетесь к моему поступку... Я думал...

— Вы думали, что я в самом деле надену на вас матросскую куртку?.. Отдам вас под суд за то, что вы назвали меня «бешеной собакой»? — спросил, улыбаясь, адмирал.

— Признаться, думал, ваше превосходительство.

— Плохо же вы знаете своего адмирала! — с выражением не то грусти, не то неудоволь-

ствия промолвил адмирал. — А, кажется, меня нетрудно узнать... Я перед всеми вами весь, каков есть... Вот если бы вы осмелились послушаться моего приказанья или были малодушный или нечестный офицер, позорящий честь флага, тогда я не задумался бы строго наказать вас... Не пожалел бы. А в военное время и расстрелял бы офицера-труса или изменника! — энергично воскликнул адмирал, сверкнув глазами и сжимая кулаки... — Но губить молодого мичмана, да еще такого славного, только за то, что он такой же бешеный, как и его адмирал, и на дерзость ответил дерзостью... Как вы могли, как вы смели об этом думать... А еще неглупый человек, и так мало понимать людей?! Нет, любезный друг, я не обращаю внимания на такие пустяки и из-за них никого не губил... Не в них дело... Не в этом дух службы... Этим пусть занимаются какие-нибудь мелочные люди... какие-нибудь торгоши адмиралы, не любящие флота...

И с обычной своей экспансивностью адмирал стал излагать свои взгляды на службу, на ее дух, на отношения начальника к подчи-

ненным, на связь, какая должна быть между ними. Разумеется, не обошлось без указаний на таких «незабвенных» моряков, как Нельсон, Лазарев, Нахимов и Корнилов...

Отпуская после этой интимной беседы молодого мичмана, адмирал сердечно проговорил:

— Помните, что во мне вы всегда найдете преданного друга... И впоследствии, если я вам могу быть в чем-нибудь полезен, идите прямо к прежнему своему адмиралу. Что могу, всегда сделаю... А сегодня прошу ко мне обедать... Вы любите поросенка с кашей?

— Люблю, ваше превосходительство.

— Так у меня сегодня поросенок о гречневой кашей! — весело проговорил адмирал.

Молодой мичман вышел из адмиральской каюты горячим поклонником беспокойного адмирала.

И спустя много лет, когда ему пришлось служить с более покойными «цензовыми» адмиралами новейшей формации, сколько раз и с каким теплым, благодарным чувством вспоминал он об этом «беспокойном» и жалел, что такого уже нет более во флоте...

— Эй, Васька! — крикнул адмирал, когда ушел Леонтьев, но крикнул как-то нерешительно, не так, как всегда.

Тот явился словно бы нехотя, еле передвигая ноги, недовольный и мрачный, с подвязанной черным платком щекой.

Адмирал покосился на подвязанную щеку, вспомнил, что, вернувшись в каюту после того, как бесился на палубе, он за что-то толкнул подвернувшегося ему Ваську, и виновато спросил:

— Ты щеку-то... зачем подвязал?

— Еще спрашиваете: зачем? — грубо отвечал Васька, зная, что адмирал теперь в таком настроении, что ему можно грубить безнаказанно. — Зачем?! Мне тоже даже довольно совестно показывать перед людьми свой срам...

— Какой срам?

— А синяк... В самый глаз давеча звезданули... Чуть выше — и вовсе глаза бы решился... И хоть бы за какую-нибудь вину... А то вовсе зря, из-за вашего бешеного характера...

Адмирал не ронял слова, и Васька, бросив быстрый лукавый взгляд своего неподвязанного глаза на адмирала, после паузы реши-

тельно проговорил:

— Как вам угодно, но только больше переносить от вас мук я не согласен. Это сверх сил моего терпения... Как, значит, придем в Нагасаки, извольте меня уволнить... Возьмите себе другого слугу.

— Кого я возьму? Что ты врешь там?

— Вовсе не вру... В Нагасаках дозвольте получить расчет.

— Ну, ну... не сердись... Не ворчи...

— Я не сержусь... Я знаю, что вы отходчисты, но все-таки обидно... Прямо в глаз!..

Адмирал вышел в соседнюю каюту и, вернувшись, подал Ваське большой золотой американский игль (в десять долларов) и сказал:

— Вот тебе... возьми... Не ворчи только...

Почувствовав в руке монету, Васька поблагодарил и после небольшого предисловия объявил, что он готов служить адмиралу. Он останется — разумеется, не «из антереса» («какой мне антерес?»), а только потому, что очень «привержен» к его превосходительству.

Проговорив эту тираду, Васька, однако, не уходил.

— Что тебе надо еще? — спросил адмирал.

— Маленькая просьбица, ваше превосходительство.

— Говори.

— Дозвольте взять ваше штатское пальтецо. Вы не изволите носить его. Оно зря висит... А я бы переделал.

— Бери.

— И пинжак у вас один совсем для адмиральского звания не подходит. А вашему камердинеру отлично бы! — продолжал Васька.

— Бери.

— Премного благодарен, ваше превосходительство.

— Большая ты каналья, Васька! — добродушно рассмеялся адмирал.

Васька осклабился, оскалил зубы от этого комплимента и вышел из каюты, весьма довольный, что «нагрел» адмирала, да еще за сравнительно пустой синяк, едва даже заметный.

И он немедленно же снял со щеки платок, надетый им специально для предъявления адмиралу больших требований после его гневного состояния, во время которого Вась-

ка, кажется, нарочно подвертывался под руку бушующего барина и получал, случалось, экстренные затрецины, чтобы после предъявить на них счет, разыгрывая комедию невинно обиженного человека.

И адмирал всегда откупался, так как, по словам Васьки, после того как отходил, бывал совсем «прост», и тогда проси у него что хочешь. Даст!

## XV

Когда мичман Леонтьев появился в кают-компании, веселый и радостный, совсем непохожий на человека, собирающегося одеть матросскую куртку, — все поняли, что объяснение с адмиралом окончилось благополучно, и облегченно вздохнули, нетерпеливо ожидая сообщений Леонтьева.

По-видимому, более всех был рад за своего любимца старший офицер. Хоть он и не предвидел особых бед для дерзкого мичмана, но все-таки ждал неприятностей и думал, что Леонтьева вышлют с эскадры.

И его нахмуренное лицо озарилось доброй улыбкой, и маленькие близорукие глаза заис-

крились радостью, когда он спросил, уверенный по веселому виду мичмана, что все обошлось:

— Под арест, значит, уж не нужно, Сергей Александрович?

— Не нужно, Михаил Петрович, не нужно... Сегодня зван к адмиралу обедать.

— Обедать?! — воскликнул тетка Авдотья и совсем выкатил свои ошалелые глаза. — Вот так ловко!

— И вы остаетесь на эскадре?

— В Россию не едете?

— И ничего вам не будет?

— Остаюсь... и ничего мне не будет! — отвечал на бросаемые ему со всех сторон вопросы молодой человек.

— Невероятно! — пробасил артиллерист.

— Удивительно! — счел долгом удивиться даже и доктор.

Штурман значительно и торжествующе улыбался: «Дескать, что я вам говорил?»

— Но, верно, он пушил вас, Сереженька?... Здорово, а? — спрашивал Снежков.

— И не пушил... Знаете ли, господа, ведь мы совсем не знаем адмирала. Я только что

сейчас его узнал... Какая справедливая душа! Какая порядочность! — восторженно восклицал мичман, присаживаясь у стола.

— Влюбились в него теперь? — иронически заметил ревизор.

— Да, влюбился, — вызывающе проговорил молодой человек. — Влюбился и буду теперь стоять за него горой, и охотно прощаю ему и его крики, и минуты бешенства... Он — человек! И я был болван, считая его злым и мстительным. Торжественно заявляю, господа, что был болван!

— Да вы расскажите толком, что такое случилось? Как это вы вдруг обратились в христианскую веру? — нетерпеливо заметил доктор.

— Рассказывайте, рассказывайте, Сереженька.

— Что случилось? А вот что: он извинился передо мной, и если б вы знали, как искренне и сердечно. Он... адмирал... Понимаете?

Эти слова вызвали общее изумление.

Действительно, господам морякам, привыкшим к железной дисциплине, трудно было понять, чтобы адмирал, получивший дер-

зость, мог первый извиниться. Он мог простить ее, но не просить прощения у подчиненного. Это казалось чем-то диковинным.

— И мало того, — порывисто продолжал мичман, — он понял, что я вызван был на дерзость его дерзостью, и не считает меня виноватым... Скажите, господа, многие ли начальники способны на это?.. Ведь надо быть очень порядочным человеком, чтоб поступить так...

Когда Леонтьев подробно передал свое объяснение с адмиралом, в кают-компании раздались восторженные одобрения. Все решили, что хотя с беспокойным адмиралом и тяжело подчас служить и он бывает бешеный, но что он добрый и справедливый человек, достойный глубокого уважения.

И в этот самый день, когда адмирал бесновался как сумасшедший и после извинился пред мичманом, сказавшим ему дерзость, на «Резвом» незримо для всех крепла духовная связь между беспокойным адмиралом и его подчиненными, оставшаяся на всю жизнь добрым и поучительным воспоминанием о «человеке» — воспоминанием, которым —

увы! — едва ли похвалятся современные адмиралы, вырабатывающие свои отношения к подчиненным лишь на безжизненной букве устава или на торгашеских правилах «ценза», хотя бы весьма корректные и никогда не увлекающиеся профессиональным гневом.

Пока в кают-компании шли разговоры об адмирале, он вышел из каюты и разгуливал взад и вперед по шканцам, кидая по временам быстрые взгляды на рыжего мичмана Щеглова, стоявшего на мостике.

Расстроенный и подавленный вид молодого моряка возбуждал в адмирале участие. Он понимал, что должен был переживать молодой самолюбивый офицер, свершивший такое «преступление», как он. И это его отчаяние и вызывало в адмирале сочувствие и заставляло простить его вину, вселяя в адмирале уверенность, что моряк, так сильно потрясенный, уж более не прозевает шквала, и что, следовательно, отрешить его от командования вахтой, как он собирался, было бы напрасным лишним оскорблением и без того оскорбленного самолюбия.

И адмирал поднялся на мостик, подошел к

Щеглову и как ни в чем не бывало спросил:

— Как ход-с?

— Десять узлов, ваше превосходительство!

В голосе мичмана звучала виноватая нотка.

Адмирал поднял голову, осмотрел паруса и заметил:

— Отлично-с у вас стоят паруса...

Этот комплимент, который в другое время порадовал бы мичмана, теперь, напротив, заставил его только вспыхнуть. Он напомнил ему о парусах, потерянных по его вине, и казался ему какою-то насмешкой.

«Уж лучше бы он опять разнес и назвал прачкой!» — подумал мнительный и нервно настроенный моряк.

Адмирал, казалось, понял и это. Ему стало жаль молодого человека. И он мягко промолвил:

— Не следует падать духом, любезный друг... Вы получили тяжелый урок и, конечно, им воспользуетесь... Беда у всех возможна... И вам только делает честь, что вы так близко приняли ее к сердцу... Это доказывает, что в вас морская душа бравого офицера... Да-с!

Молодой мичман, все еще думавший, что ему место только в «прачках», ожил от этих ободряющих слов адмирала и в эту минуту желал только одного: чтобы на корвет немедленно налетел самый отчаянный шквал. Он показал бы и адмиралу и всем, как лихо бы он убрался.

Но горизонт со всех сторон был чист, и мичман мог только взволнованно проговорить:

— Я, ваше превосходительство, поверьте... заглажу свою вину... Вы увидите...

— Не сомневаюсь... И скажу вам, что на ваших вахтах я буду спокойно спать! — проговорил адмирал и спустился с мостика.

Мичман, не находя слов, благодарно взглянул на адмирала, оказывающего ему такое доверие, и окончательно почувствовал себя снова неопозоренным моряком, могущим оставаться на службе.

И адмирал не ошибся. Действительно, он мог потом спокойно спать на вахтах Щеглова, так как после этого дня на корвете не было более бдительного вахтенного начальника.

Ободряющие, вовремя сказанные слова от-

чаявшемуся молодому моряку сохранили флоту хорошего офицера и были убедительнее всяких выговоров и арестов и всего того мертвящего формализма, который особенно губителен во флоте.

Николай Афанасьевич долго кейфовал у себя в каюте и не показывался наверху, чтобы не встретиться с адмиралом.

Наконец он послал вестового за старшим офицером, и когда тот присел в капитанской каюте, капитан спросил:

— Ну что, Михаил Петрович, адмирал отошел?

— Отошел, Николай Афанасьич... Только что с Леонтьевым объяснился и извинился перед ним.

Монте-Кристо пожал плечами и, улыбаясь, сказал:

— Сумасшедший!.. С ним ни минуты покоя... Значит, и нас с вами не отдаст под суд?

— Мало ли что он скажет...

— Ну и накричался же он сегодня... Уф! — отдувался Николай Афанасьевич. — И главное: почему, скажите на милость, наш корвет — кафешантан? — внезапно раздражился

капитан, вспомнив обидные слова адмирала. — Что он нашел в нем похожего на кафешантан, а?.. Ведь это черт знает что такое...

— Осрамились мы сегодня, Николай Афанасьевич, надо сознаться.

— Да... все из-за Щеглова... И потом этот формарсель... Отчего его долго не несли?

— Подшкипер в спешке не мог его найти...

— Экая каналья... Но все-таки: почему же кафешантан? Кажется, у нас корвет в порядке...

— Кажется, — скромно отвечал старший офицер.

— Нет, решительно с ним невозможно служить... Если он будет так продолжать, я, Михаил Петрович, попрошусь в Россию... Надоело... Но пока это между нами... «Распустил офицеров!»... Не ругаться же мне, как боцману... Что значит: «распустил»?..

Капитан еще несколько времени изливался перед старшим офицером и, когда тот ушел, снова улегся на диван и морщился при мысли, что после сегодняшних треволнений придется идти обедать к беспокойному адмиралу. Правда, обеды у него отличные и вино

хорошее, но...

— Нет... почему кафешантан? — воскликнул снова Монте-Кристо и никак не мог сообразить, что этим хотел сказать адмирал.

## XVI

Адмирал обедал в шесть часов. Стол у адмирала был обильный и вина превосходные. В море у него каждый день обедало человек десять. Кроме постоянных его гостей — командира, флаг-капитана и флаг-офицера, обедавших у адмирала ежедневно, приглашались: вахтенный начальник, вахтенные гардемарин и кондуктор, стоявшие на вахте с четырех часов до восьми утра и, по очереди, два или три офицера из числа остального персонала кают-компании. Довольно часто кто-нибудь приглашался и экстренно, не в очередь. По воскресеньям, случалось, адмирала приглашали офицеры обедать в кают-компанию.

Все на «Резвом» хорошо знали, что адмирал не любил, когда приглашенные являлись ранее назначенного времени. Он держался английских обычаев и допускал опоздание минут на пять, но никак не появление гостя

хотя бы минутой раньше.

Вначале, когда еще не всем были известны эти «правила», один мичман, приглашенный к адмиралу, желая быть вполне корректным, по его мнению, пришел в адмиральскую каюту минут за восемь и был принят далеко не с обычной приветливостью радушного и гостеприимного хозяина.

Молча протянул адмирал гостю руку, молча указал пальцем на диван, присел сам и, видимо, чем-то недовольный, упорно молчал, подергивая плечами и теребя щетинистые усы.

В отваге отчаяния гость решил завязать разговор и сказал:

— Отличная сегодня погода, ваше превосходительство...

Вместо ответа адмирал только покосился на мичмана и после паузы проговорил:

— А знаете ли, что я вам скажу, любезный друг?..

«Любезный друг», успевший уже изучить другие привычки «глазастого черта», взглянул на него с некоторой душевной тревогой.

И по тону, и по упорному взгляду круглых,

выкаченных глаз адмирала гость предчувствовал, что адмирал, во всяком случае, не имеет намерения сказать что-либо приятное.

«Уж не хочет ли он перед обедом разнести?»

И он мысленно перебирал в своей памяти все могущие быть за ним служебные вины, за которые могло бы попасть.

Адмирал, между тем проговорив обычное свое предисловие, остановился как бы в раздумье.

Так прошла еще секунда-другая тяжелого молчания. Гость чувствовал себя не особенно приятно.

Наконец адмирал, видимо, бессильный побороть желание выразить свое неудовольствие и в то же время придумывая возможно мягкую форму его выражения, продолжал:

— У вас, должно быть, часы бегут-с, вот что я вам скажу.

Молодой человек, совсем не догадывавшийся, к чему клонит адмирал, и несколько изумленный таким категорическим мнением о неверности его отличного «полухронометра», торопливо достал из жилетного кармана

часы, взглянул на них и поспешил ответить:

— У меня совершенно верные часы, ваше превосходительство... Без пяти минут шесть.

— А я, кажется, любезный друг, приглашал вас обедать в шесть часов?

— Точно так, в шесть! — промолвил мичман, все еще не догадываясь, в чем дело.

— Так вы и должны были прийти ровно в шесть! — отрезал адмирал.

Мичман наконец догадался.

— Виноват, ваше превосходительство... я не знал... я уйду-с...

И с этими словами он стремительно сорвался с места, словно бы в диване оказалась игла, готовый немедленно исчезнуть.

— Куда уж теперь уходить! Садитесь! — приказал адмирал.

Сконфуженный молодой человек покорно опустился на диван.

И беспокойный адмирал, облегчив свою душу, тотчас же успокоился и заговорил уже более мягким тоном:

— Я позволил себе заметить вам, любезный друг, об этом для того, чтобы вы вперед знали, что если вас зовут в шесть, то и надо

приходить в шесть.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Вот англичане деловой народ и понимают цену времени. У них принято являться в назначенное время, ни минутой раньше. И это, по-моему, умно, весьма умно... А то хозяин может быть занят мало ли чем — бреется, например, а гость лезет не вовремя. Согласитесь, что это неделикатно. Наконец, хозяин просто может не быть дома до назначенного времени, а вы пришли и сидите один, как болван... Ведь это неприятно, а? Не правда ли?

— Совершенно верно, ваше превосходительство.

— А виноват не хозяин, а гость... Не приходи раньше времени. Надеюсь, вы согласны со мной?

Еще бы не согласиться!

И мичман поспешил выразить полнейшее согласие.

— А я все-таки рад вас видеть, очень рад, — любезно говорил адмирал, снова пожимая руку опешившему мичману. — Да что вы не курите?.. Курите, пожалуйста.

Нечего и прибавлять, что после такого внушения все господа офицеры, гардемарины и кондукторы «Резвого» стали неукоснительно держаться английских обычаев.

И в этот день, полный таких позорных неудач и еще не вполне пережитых волнений, разумеется, никто не осмелился явиться в адмиральскую каюту секундой раньше назначенного времени.

Один за другим являлись приглашенные к обеду моряки, приодевшиеся и прифранченные, как только что пробило шесть часов.

Монте-Кристо, румяный и представительный, с холеными черными усами и баками, в расстегнутом белом кителе и ослепительном жилете, обрисовывавшем изрядное брюшко, имел сегодня сдержанный, официально-серьезный вид недовольного человека, не забывшего, что корвет, которым он командует, назван кафешантаном.

Выражение его красивого лица, обыкновенно веселое и добродушное, было строго и внушительно и, казалось, говорило: «Я пришел сюда обедать потому, что того требует долг службы, а вовсе не по своему желанию».

И старший офицер Михаил Петрович, приглашенный по очереди вместе с доктором и старшим штурманом, был несколько угрюм. «Позорная» перемена фор-марселя до сих пор волновала его морское самолюбие.

Зато белобрысый плотный доктор с гладко причесанными вперед височками весело и умильно посматривал на небольшой стол, уставленный соблазнительными закусками, предвкушая удовольствие хорошо покушать.

Старший штурман, человек вообще застенчивый, как-то бочком вошел в каюту, поздоровался с адмиралом и поскорей отошел в сторону и стоял с выражением той философски-спокойной покорности судьбе на своем серьезном, красноватом, морщинистом лице, какое обыкновенно бывает у штурманов — этих пасынков морской службы, — когда они находятся перед лицом начальства.

Владимир Андреевич Снежков, стоявший на вахте с четырех до восьми часов утра и потому обязанный обедать у адмирала, перекрестившийся несколько раз перед тем как войти в каюту, оправивший волосы и закрутивший свои рыжие усы, вошел весь красный,

взволнованный и вспотевший, раскланялся с адмиралом и, почувствовав обычную робость, с ошалелым видом юркнул в кружок молодых людей, стоявших отдельно и тихо разговаривавших. Стоявшие с ним утреннюю вахту приземистый и лобастый гардемарин дядя Черномор и старавшийся подражать Базарову штурманский кондуктор Подоконников скрыли тетку Авдотью от глаз адмирала вместе с экстренно приглашенным мичманом Леонтьевым и гардемаринном Ивковым.

— Кажется, все? — проговорил адмирал, озираясь, когда в каюте появился Ратмирцев, как всегда элегантный, в своем адъютантском сюртуке с аксельбантами, чистенький, гладко выбритый, с прилизанными белокурыми волосами, с безукоризненными ногтями своих белых, холеных рук, на мизинцах которых блестело по кольцу, — внося вместе с собой душистую струйку духов.

— Все, ваше превосходительство! — поспешил доложить флаг-офицер Вербицкий.

— Покорно прошу, господа, закусить. Николай Афанасьевич! Пожалуйста... Михаил Петрович... Иван Иваныч... Доктор...

— Вы ведь померанцевую, Николай Афанасьевич? — особенно любезно спрашивал адмирал.

— Померанцевую, ваше превосходительство! — официально-сухим тоном отвечал Монте-Кристо, подходя к столу и чувствуя при виде обилия и разнообразия закусок, что у него текут слюнки и начинает уменьшаться обида на адмирала.

А адмирал, видимо ухаживая за Николаем Афанасьевичем, которого хотел отдать под суд, и словно бы желая особенным к нему вниманием заставить забыть его и «кабак», и «кафешантан», и вообще все бешеные выходки утра, сам налил сегодня капитану рюмку померанцевой и, подавая ее, проговорил:

— Сегодня Васька отыскал последнюю жестянку икры... Позвольте вам положить, Николай Афанасьич.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство.

Но адмирал уже наложил на тарелочку огромную порцию паюсной икры, величина которой как будто соответствовала внутренней потребности адмирала загладить свою

несправедливость перед капитаном, который, при всех своих недостатках, все-таки был лихой моряк, и, передавая тарелочку, сказал:

— Не знаю, хороша ли? Вы ведь знаток, Николай Афанасьич...

Монте-Кристо опрокинул в себя рюмку водки и закусил икрой.

— Прелесть, ваше превосходительство! — проговорил Николай Афанасьевич, проглотивая кусок с видимым наслаждением.

И эта особенная внимательность адмирала, и превосходная икра, и вид всех этих вкусных закусок, возбуждавших в Николае Афанасьевиче самые приятные ощущения, заметно смягчили сердце мягкого и добродушного Монте-Кристо, и лицо его уже расплывалось в широкую, довольную улыбку, а его сузившиеся глаза зажглись плотоядным огоньком взятого гурмана и чревоугодника.

Он не просто ел, а как-то особенно — не спеша и смакуя, точно совершая торжественный культ чревоугодия.

— Еще рюмку, Николай Афанасьевич?.. Рекомендую вам русские грибки...

— Что ж, можно, ваше превосходитель-

ство... У вас померанцевая отличная... Не беспокойтесь, ваше превосходительство...

Адмирал уже налил рюмку и, обращаясь затем к своему флаг-офицеру, который заведовал его хозяйством и, к немалой досаде Васьки, закупал вина и другие запасы, сказал:

— Вербицкий! Смотрите, чтоб у нас всегда была померанцевая. Берегите ее для Николая Афанасьевича и не давайте ее пить гардемаринам... Молодые люди могут пить другую...

— Есть, ваше превосходительство!

Тронутый Монте-Кристо окончательно простил беспокойному адмиралу «кафешантан» и после грибков усердно занялся омаром под провансальским соусом...

— Иван Иваныч! Что ж вы одну рюмку? Наливайте себе другую! — обратился адмирал к старшему штурману.

— Не много ли будет, ваше превосходительство? — пошутил старый штурман, вливавший в себя ежедневно значительное количество портеру и марсалы совершенно безнаказанно, и, опрокинув изрядную рюмку водки, отошел в сторонку.

— А вам померанцевая тю-тю! — шепнул,

смеясь, Ивков Подоконникову.

— Вы что там смеетесь, Ивков?.. Закусывайте.

— Я говорю, ваше превосходительство, что померанцевая нам с Подоконниковым не по чину.

— Ишь, зубоскал! — рассмеялся адмирал... — Ваш чин, любезный друг, такой, что вы можете пить водку, какую вам дадут, и не больше одной рюмки... Ну, уж так и быть, налейте себе померанцевой...

— Да я никакой не пью.

— Чего ж вы хлопочете?

— Я за Подоконникова, ваше превосходительство. Он ее очень любит!

— Ну, так налейте Подоконникову... Он вот и сигары любит, и померанцевую, хотя ничего в них не понимает... А вы что же, Владимир Андреич, не закусываете? Пожалуйста к столу.

Лейтенант Снежков рванулся к столу, словно лошадь, получившая шенкеля.

— Какой вам налить, Владимир Андреич?

— Какой прикажете, ваше превосходительство, — ответил, весь краснея, тетка Авдотья.

— Однако? Тут пять сортов...

— Все равно-с, ваше превосходительство!

— Да ведь и мне все равно, какой вам налить! — нетерпеливо и раздражительно воскликнул адмирал, который терпеть не мог неопределенных ответов.

Лейтенант совсем смутился и не знал, какую водку назвать. В горле у него точно пересохло. Глаза выкатились и смотрели совсем ошалело.

— Я... я, ваше превосходительство, — начал было он.

— Владимир Андреич пьет очищенную, ваше превосходительство! — поспешил выручить Снежков старший офицер.

— Так бы и сказали, а то — «все равно»!.. А я налил бы вам другой... Не угодно ли? — говорил адмирал, подавая лейтенанту рюмку. — Да что ж вы не закусываете? — остановил его гостеприимный хозяин, заметив, что Снежков, проглотив рюмку, хотел снова юркнуть. — Прошу покорно... Да берите икру, Владимир Андреич... Кушайте икру! — почти приказывал беспокойный адмирал, увидав, что Снежков торопливо тыкал вилкой в таре-

лочку с селедкой. — Икра — редкая здесь закуска... Берите!..

Снежков уж поймал наконец кусок селедки, сунул его в рот, проглотил не жевавши и потянулся к икре, посматривая в то же время на адмирала напряженно, растерянно и боязливо, точно сбитый с толку ученик на учителя.

— Пойдите, я вам положу, а то вы... вы ужасно копаетесь, Владимир Андреич, я вам скажу, и не даёте Аркадию Дмитричу выпить его любимого аллаша...

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, я успею! — изысканно-почтительно, отчеканивая слова, промолвил Ратмирцев и наклонил голову в знак благодарности за внимание к нему, слегка изогнувшись всем станом и приложив топку белую руку к груди.

Все это он проделал необыкновенно красиво и изящно, словно бы показывая всем присутствующим, что значит человек с изящными манерами, и когда Снежков, получив из рук адмирала тарелочку, отскочил наконец от стола, обливаясь потом и красный как рак,

точно выйдя из бани, Аркадий Дмитриевич налил себе крошечную рюмку аллаша, взял ее двумя пальцами, грациозно отставив остальные, и не спеша выпил, закусил крошечным кусочком икры и отошел назад.

— Это, верно, так полагается по-придворному? — шепнул Ивков своему приятелю.

— Противно на него смотреть! И ведь как задается! [19] — отвечал Подоконников.

— Удивляюсь, Аркадий Дмитрич, как вы любите такую дрянь, — как аллаш! — неожиданно заметил адмирал.

— У всякого свой вкус, ваше превосходительство...

— То-то я и удивляюсь вашему вкусу... А впрочем, в Петербурге многие гвардейцы любят этот аллаш. Вот Иван Иваныч, я полагаю, так не любит, а?

— Я, ваше превосходительство, люблю, чтобы водка — так водка... Горечь чтобы была-с, — отвечал старый штурман, посматривавший на «наперсток» Ратмирцева и на него самого с чувством глубочайшего тайного презрения, как на человека совершенно пустого, заносчивого и неспособного.

— Не смею спорить, ваше превосходительство, особенно с таким авторитетным человеком в этом деле, как почтеннейший Иван Иванович, — проговорил любезно-мягким тоном «придворный суслик», взглядывая на старого штурмана с снисходительно-любезной небрежностью, как на человека совершенно другой и низшей расы. Ратмирцев искренне был убежден, что штурман — это нечто мизерное и терпимое только в море.

Старый почтенный штурман, всю жизнь свою честно тянувший ляжку и пользовавшийся уважением и адмирала, и всех своих сослуживцев, понял, конечно, и этот намек на то, что он любит выпить, почувствовал и этот высокомерный взгляд, но ничего не ответил. «Не стоит, дескать, связываться!»

И словно бы желая показать, что не обращает ни малейшего внимания на намек Ратмирцева, подошел к столу и налил себе третью рюмку водки.

— И я с вами, Иван Иванович! — весело сказал капитан.

— Вистнете-с, Николай Афанасьич?

— Вистну!..

Адмирал продолжал угощать и всем накладывать икры, хотя и не в таком количестве, как капитану и старшему офицеру, и был, видимо, доволен, что и Николай Афанасьевич, и старший офицер как будто на него не сердятся.

— Прошу садиться, господа! — весело проговорил он, когда Васька и его подручный, молодой вестовой Гаврилов, оба в белых нитяных перчатках, расставили тарелки с супом.

По правую руку адмирала сел Николай Афанасьевич, а по левую Ратмирцев, затем старший офицер, старший штурман, доктор и остальные. Молодежь сидела на «баке», то есть на другом конце стола, где прямо против адмирала сидел флаг-офицер, на обязанности которого было, между прочим, разрезывать птицу, когда таковая подавалась на жаркое, и наливать гостям на «баке» вино.

Обед был превосходный, особенно принимая в соображение, что «Резвый» уже две недели был в море. После супа с пирожками была подана консервованная лососина, превосходно приготовленная с разнообразным

гарниром. Адмирал зорко следил, чтобы все ели, и часто кричал Вербицкому, что около него у гостей пустые рюмки.

И за обедом адмирал видимо особенно ухаживал и за Николаем Афанасьевичем, и за старшим офицером, то и дело подливая и тому и другому вина в различные рюмки, красовавшиеся у приборов и прежде, бывало, сбивавшие с толку многих гардемарин, пока адмирал не научил их, какое вино и в какие рюмки следует наливать.

Когда подали поросенка с гречневой кашей, Монте-Кристо, уже слегка размякший после нескольких рюмок хереса, портвейна и красного бургонского, совершенно забыл о «кафешантане» и о своем намерении проситься в Россию, тем более что адмирал весьма кстати вдруг припомнил, как однажды у них на корабле «Наварине», которым командовал сам Павел Степанович Нахимов, на глазах у всей эскадры долго не могли переменить марселей.

— Шкипер, каналья, виноват был...

— И что же, ваше превосходительство, Павел Степанович задал такую же гонку, как и

вы нам сегодня? — спросил, улыбаясь, Монте-Кристо.

— А вы все еще не забыли?.. Экий злопамятный! Ну, мало ли иногда что бывает?.. Разве сами-то вы сегодня не сердились в душе... Разве вам не было обидно-с?.. Спросите-ка у Михаила Петровича, как ему досадно было... Не так ли, Михаил Петрович?..

— Совершенно верно, ваше превосходительство...

— То-то и есть... Мы, моряки, всё слишком горячо принимаем к сердцу... в этом-то и называется любовь к делу, хоть часто мы и беснуемся из-за пустяков... Но и пустяки иногда важны... да-с... Эй, Васька! Подавай еще поросенка Сергею Александровичу... Он любит поросенка с кашей... Кушайте, Сергей Александрович!..

Разговоры оживились к концу обеда. Адмирал рассказал, как однажды в Черном море два капитана держали пари на легавого щенка, кто скорей снимется с якоря.

— Так что бы вы думали сделал Ивков, покойный брат нашего зубоскала?..

— А что, ваше превосходительство?

— Видит он, что шкуна, с командиром которой он держал пари, его обгоняет, все гребные суда подняла, а у него еще баркас не поднят... Он, чтобы выиграть время, велел баркас утопить, оставив на месте буюк, поднял якорь, поставил паруса и был таков на своем тендере... щенка-то и выиграл... После уж он сам признался, на какой пошел фокус... Фокус-то фокусом, а находчивость... Такой командир и с неприятелем найдется... Вот что значит — школа черноморская...

В свою очередь, и Монте-Кристо рассказал, как они на фрегате «Коршун» «втирали очки» одному адмиралу.

После пирожного адмирал попросил всех пересесть на диваны. Подали ликеры и кофе.

Адмирал взял под руку Николая Афанасьевича и, отводя его в сторону, тихо сказал:

— А вы уж со Щеглова не взыскивайте, Николай Афанасьич... прошу вас... Он и так наказан... И вообще... на меня не сердитесь... Мало ли что скажешь... Я ведь знаю, что корвет у вас в порядке...

Монте-Кристо ушел от адмирала примиренный с ним. Скоро и адмиралу пришлось

убедиться, что Монте-Кристо в критические минуты — образцовый капитан, и это заставило адмирала снисходительнее относиться к его недостаткам.

Когда вслед за капитаном все стали откланиваться, адмирал, веселый и довольный, благодарил всех за посещение и, когда к нему подошел Леонтьев, крепко пожал ему руку и сказал:

— Так мы теперь друзья, не правда ли?

— Друзья, ваше превосходительство! — отвечал, улыбаясь, Леонтьев.

## XVII

**Н**а корвете все, кроме вахтенных, крепко спали.

Был второй час чудной южной лунной ночи. «Резвый» бесшумно неся вперед, неся почти все паруса.

Мичман Леонтьев, стоявший на вахте, шагал по мостику, зорко поглядывая по сторонам и изредка покрикивая:

— Вперед смотреть!

Вдруг на мостике внезапно показалась фигура адмирала. Он был заспанный, в кителе и

в туфлях, одетых на босую ногу.

Постояв минуту-другую, он подошел к Леонтьеву и тихо сказал:

— Вызовите барабанщика, да чтобы без шума.

— Есть!

Через минуту явился барабанщик.

— Пожарную тревогу! — приказал адмирал.

Раздалась тревожная, призывная, долго не умолкавшая дробь.

И не прошло и двух минут, как весь корвет ожил. Раздался топот сотен ног, доносились окрики боцманов. Все стремглав летели по своим местам. Еще минуты две, и все палубы были освещены, все брандспойты готовы, и крьюйт-камера в несколько мгновений могла быть затоплена.

Испуганные выскочили капитан и старший офицер, спрашивая у Леонтьева, в каком месте пожар.

— Нигде... Адмирал, — тихо произнес он, указывая на адмирала.

— Ну, пойдете, господа, посмотрим, — сказал адмирал, обращаясь к капитану и

старшему офицеру, — как мы приготовились к пожару... Собрались люди молодцами, как следует на военном судне!

Адмирал в сопровождении капитана и старшего офицера обошел весь корвет. Все было найдено им в образцовом порядке. Все люди по местам. Все инструменты в исправности.

Поднявшись наверх, адмирал приказал поставить команду во фронт и, обходя фронт, благодарил матросов.

— Рады стараться, ваше-ство! — раздалось среди океана.

Затем адмирал велел собраться всем офицерам на шканцах и сказал:

— Видно, что исправное военное судно... От души благодарю вас, Николай Афанасьевич, и вас, Михаил Петрович, и всех вас, господа... Аркадий Дмитриевич!.. Завтра отдайте приказ по эскадре! Спокойной ночи! Распустите команду.

С этими словами адмирал скрылся.

Через пять минут на корвете снова царила тишина, и «Резвый» разрезал своей грудью океанские волны, по-прежнему безмолвный

и, казалось, заснувший.

## XVIII

Через несколько дней «Резвому» пришлось выдержать жесточайшую «трепку».

Это была одна из тех, по счастью, редких трепок, которые наводят ужас даже на самых опытных и бесстрашных моряков и не забываются ими во всю жизнь. Особенно отзываются они на капитанах. Они, сознающие, что от их находчивости, умения и энергии зависит жизнь сотен людей, переживают ужасные часы в страшном напряжении нервов и, случается, нередко в одну ночь седеют и преждевременно стареются. Вспоминая о таких испытаниях впоследствии, они обыкновенно становятся серьезны и говорят:

— Да, трепануло-таки нас порядочно!

Но, разумеется, слушатель-неморяк и не догадается, сколько скрыто драмы в этих немногих словах и сколько пережито было в такие дни или ночи.

«Резвый» приготовился к встрече тайфуна под штормовыми парусами, но дьявольский шторм продолжался двое суток.

В течение этого времени капитан «Резвого» спал несколько часов, — вернее, не спал, а дремал тут же наверху, в штурманской рубке, и после снова поднимался на мостик. Напряженный и страшно серьезный, Монте-Кристо лично распоряжался управлением «Резвого», командуя рулевым и зорко наблюдая, чтобы громадные валы не залили корвет, метавшийся с болезненным скрипом среди разъяренных волн.

Положение было серьезное.

Бывали минуты, — и эти минуты сознавались всеми, — когда «Резвый», казалось, изнемогал в этой долгой борьбе с озверевшей стихией. Малейшая неосторожность со стороны капитана, потеря присутствия духа — и корвет мог бы погибнуть. Это чувствовалось всеми... это написано было на бледных лицах матросов, в широко раскрытых глазах, устремленных на мостик...

Но Монте-Кристо, словно бы весь преобразенный, хладнокровный и решительный, страшно напряженный и совсем не похожий теперь на легкомысленного, веселого и ленивого жуира, полный энергии и сил, неустанно

и внимательно следил за каждым движением «Резвого», направляя его вразрез волнам и уклоняясь от их нападений.

Необыкновенно яростный порыв освирепевшей бури, достигшей, по-видимому, своего апогея, повалил грот-мачту. Она с треском закачалась, склонилась и упала на подветренный борт. Корвет лег на бок. Минута была критическая.

— Очистить скорей! — громовым голосом крикнул капитан в рупор.

Старший офицер Михаил Петрович уже был там, у свалившейся мачты. Несколько ударов топоров, и мачта, освобожденная от вант, была за бортом.

Корвет снова поднялся, и лицо Монте-Кристо, напряженное до последней степени, прояснилось.

— Слава богу!.. — невольно прошептал он. И губы его вздрагивали.

Беспокойный адмирал, выдавший на своем веку виды, был угрюмо-спокоен. Он тоже не покидал мостика и стоял, уцепившись за поручни, безмолвный, ни разу не вмешиваясь в распоряжения капитана. Они были без-

укоризненны, и адмирал за эти два дня, внутренне любуясь Монте-Кристо, вполне убедился в том, что Николай Афанасьевич лихой и энергичный капитан, особенно в критические минуты, и что он, этот сибарит и жуир, сумеет умереть рыцарем долга, если бы пришлось.

И два штормовые дня сблизили эти две противоположные натуры. Беспокойный адмирал проникся невольным уважением к мужественному и лихому капитану и прощал все его недостатки.

Не раз предлагал он ему спуститься вниз и отдохнуть.

— Я за вас постою, Николай Афанасьич... Вы утомились.

— Место капитана здесь, на мостике, и я его не оставлю, пока корвет в опасности! — отвечал Монте-Кристо.

И голос его звучал энергией. И тон его был совсем не такой, каким он говорил обыкновенно о адмиралом. В нем было что-то властное и сильное, словно бы подчеркивающее, что он — капитан и на нем лежит вся ответственность за судно и за экипаж.

Зато адмирал то и дело посылал за Васью и приказывал ему приносить наверх разные закуски и вина для Николая Афанасьевича, чтобы он подкрепился. Но Монте-Кристо был слишком нервно напряжен и не ощущал голода. Он в эти два дня довольствовался несколькими галетами, которые запивал портвейном.

Когда наконец к концу второго дня шторм стал затихать и корвет был вне опасности, капитан попросил Михаила Петровича его сменить на мостике и, отдав приказание вахтенному начальнику не будить его без особенной надобности, спустился наконец с мостика.

Лицо его осунулось и, казалось, постарело. Впавшие глаза, уже не горевшие блеском возбуждения, были утомлены и безжизненны. Вся его фигура казалась какою-то вялою и ленивою, нисколько не напоминавшею ту энергичную, которая пленяла всех еще несколько минут тому назад.

— Не хотите ли закусить, Николай Афанасьич? Я велю сейчас подать вам! — предложил адмирал, только что вышедший из каю-

ТЫ.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство. Я ничего не хочу...

— Не прислать ли вам чего-нибудь в каюту, Николай Афанасьевич, а? Ведь вы ничего не ели? Есть недурная ветчина, омары, че-стер, страсбургский пирог, копченая лососина. И у меня сохранилась одна бутылка превосходной редкой мадеры... Я получил в подарок несколько бутылок этого вина в прошлое плавание, когда был на Мадере... Одна бутылка осталась... Позвольте вам прислать.

— Если позволите, завтра, ваше превосходительство, я с удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением, а теперь я смертельно хочу спать.

— Ну, идите... идите... Только позвольте вам сказать, Николай Афанасьич, что я, как моряк, все время любовался вашими распоряжениями и гордился, что у меня в эскадре такой капитан. Да-с. Только с такими командирами, как вы и как командир «Голубчика», можно было выйти с честью из такого анафемского шторма, и я считаю своим долгом горячо благодарить вас за спасение корвета и

людей! — взволнованно проговорил адмирал и как-то особенно сердечно и крепко пожал руку Монте-Кристо. — Такие дни не забываются! — прибавил он. — Спокойной ночи. Выспитесь хорошенько. Завтра, если стихнет, разведем пары и к вечеру будем в Нагасаки.

Монте-Кристо был польщен словами адмирала, но ничего на них не ответил и торопливо спустился в свою каюту.

— Уф! — облегченно и радостно вздохнул он при виде чистой и свежей постели, которая в эти минуты составляла единственный предмет его желаний. Ничего другого не существовало для него. Он точно забыл все, что только что произошло, все, что он пережил в эти двое суток... Нервы словно бы притупились...

И он, обессиленный, раздетый вестовым, с наслаждением бросился на мягкую койку и в ту же минуту заснул как убитый.

## XIX

К утру следующего дня значительно стихло. Ветер ослабевал. Черные клочковатые тучи чернели на горизонте, и из-за перистых облачков то и дело показывалось ослепительное жгучее солнце. Старший штурман Иван Иванович уже поспешил взять высоты, чтобы сделать астрономические вычисления и точно определиться. И то два дня без наблюдений. Это его смущало.

Покачиваясь на затихавшем, но все еще сильном волнении, «Резвый» и «Голубчик» шли в близком расстоянии друг от друга, попыхивая дымком из своих белых труб, оба сильно пощипанные бурей. Каждого из них шторм покалечил, и они напоминали раненых птиц. На «Резвом» не было грот-мачты и утлегаря (оконечность бугшприта), снесен с боканцев капитанский катер и проломлен борт. «Голубчик» потерял фок-мачту, все свои шлюпки, и верхняя рубка сильно пострадала.

Машины на обоих судах работали полным ходом, и корвет и клипер, буравя своими винтами, шли узлов по семи, по восьми, направ-

ляясь в Нагасаки, до которого было не более ста миль.

Там, в затишье спокойной гавани, можно будет основательно исправить все аварии: поставить и вооружить новые мачты и достать новые шлюпки, а пока на обоих судах залечивали раны домашними средствами на случай нового нападения врага.

К подъему флага на «Резвом» и на «Голубчике» взамен потерянных мачт уже стояли так называемые «фальшивые», на которых можно было держать, в случае крайности, легкую парусность, и проломленные борты были заделаны. Работали всю ночь, и Михаил Петрович, конечно, не смыкал глаз.

В семь часов адмирал вышел наверх и довольным взглядом оглядел «Резвого» и потом «Голубчика». Оба они, хотя и пощипанные, все-таки сохраняли внушительный вид исправных военных судов.

Адмирал приказал сигналом спросить «Голубчика», какие у него повреждения и нет ли сильной течи.

Ответные сигналы перечислили повреждения и сообщили, что течи нет.

Адмирал удовлетворенно улыбался, разгудывая по юту. Он думал теперь, к какой бы награде представить этих двух лихих капитанов и заставить адмирала Шримса уважить его представление. И он уже заранее волновался при мысли, что этот Шримс, не имеющий понятия о морском деле, может не исполнить его ходатайство и оба капитана не будут отличены, как следует. Волновался и решил, что он, в случае отказа, напишет ему такое письмо... такое...

В эту минуту адмирал вспомнил, что он еще не поблагодарил командира «Голубчика» за шторм, и сказал вахтенному офицеру:

— Сергей Александрович! Прикажите поднять сигнал, что я изъясляю командиру «Голубчика» свое особенное удовольствие.

— Есть! — отвечал мичман Леонтьев.

— Да отчего это Вербицкого нет, а? Адмирал наверху... семь часов... а флаг-офицер спит... Пошлите за ним! — вдруг раздраженно крикнул адмирал.

Но, увидав поднявшегося на мостик старшего офицера, он снова просветлел и, пожимая Михаилу Петровичу руку, проговорил:

— Доброго утра, Михаил Петрович... Очень рад вас видеть и не могу не сказать, что вы меня даже удивили...

— Чем, ваше превосходительство? — спросил, недоумевая, старший офицер.

— Еще спрашивает! — улыбнулся адмирал... — Так быстро исправить повреждения и поставить мачту... это... это... делает большую честь старшему офицеру... Ну, да ведь мы с вами старые приятели... Я вас давно знаю... А все-таки... удивили, Михаил Петрович. Ну что, у нас течи не показалось после вчерашнего?..

— Нет, — отвечал Михаил Петрович и покраснел, видимо, польщенный словами адмирала, который действительно понимал и умел ценить работу подчиненных, потому что и сам умел работать, и в свое время был образцовым старшим офицером.

— Хорошо построенное судно, крепкое судно. Шторм ведь был серьезный.

— Довольно серьезный, ваше превосходительство! — подтвердил старший офицер.

— А как с ним справился Николай Афанасьевич... Да-с! Он показал всем, что значит

лихой капитан в критические минуты! Какой глаз... Какое хладнокровие... Какое уменье!

— Николая Афанасьевича надо видеть во время штормов, чтобы вполне оценить и понять его, ваше превосходительство!

— А вы думаете, я не ценю его, а? С таким капитаном, как он, да с таким старшим офицером, как вы, я куда угодно пойду-с... Вы дополняете друг друга, вот что я вам скажу, любезный друг... Ведь — что уж греха таить — Николай Афанасьич с ленцой и в тихую погоду любит больше кейфовать... Зато вот эти два дня... Кстати, прикажите его вестовому не будить его к флагу... Пусть высыпается.

— Слушаю-с...

— Да и вам надо отдохнуть, Михаил Петрович. Глаза-то красные.

— Успею, ваше превосходительство... В Нагасаки отосплюсь.

— А вы, Вербицкий, почему это до сих пор спали, а? Вследствие каких таких трудов? — обратился адмирал к своему флаг-офицеру ворчливым и в то же время добродушным тоном.

Шустрый мичман, хорошо изучивший сво-

его адмирала, понял, что настроение его не предвещает разноса, и потому храбро соврал:

— Я и не думал спать, ваше превосходительство.

— Что же вы делали?

— Читал, ваше превосходительство.

— Это видно по вашим сонным глазам... Ишь ведь... Всегда хочет вывернуться... Всегда у него наготове ответ! — засмеялся адмирал и шутливо погрозил мичману пальцем.

— А Аркадий Дмитрич тоже читает? — насмешливо спросил адмирал.

— Аркадий Дмитрич нездоров, ваше превосходительство.

— Что с ним? Укачало, видно?

— Точно так. Эти два дня Аркадию Дмитриевичу было так нехорошо, что Аркадий Дмитриевич даже и не душился, ваше превосходительство! — с самым серьезным лицом проговорил Вербицкий, зная, что лишняя шутка над флаг-капитаном может только быть приятной адмиралу.

Действительно, адмирал рассмеялся детским громким смехом...

— Даже и не душился?! Ха-ха-ха!.. Вот по-

правится Аркадий Дмитрич, я ему скажу, как вы, Вербицкий, определяете серьезность его болезни. Так не душился?

— Никак нет, ваше превосходительство... Я заходил к Аркадию Дмитричу и третьего дня, и вчера...

— Что ж он, отлеживался?

— Отлеживался и про себя читал акафисты пресвятой богородице и Николаю-угоднику, ваше превосходительство.

Адмирал снова засмеялся.

— Ну, довольно вам зубоскалить, Вербицкий... Аркадий Дмитрич религиозный человек... ну и читает акафисты... Не беспокойте его сегодня... Пусть отдохнет после шторма... А вы вот что: сегодня чтобы обед был по вкусу Николая Афанасьича... Вы знаете, что он особенно любит?

— Постараюсь догадаться, ваше превосходительство.

— Догадайтесь, и чтобы Николай Афанасьич был доволен обедом... И Михаил Петрович тоже. Надеюсь, вы не откажетесь, Михаил Петрович, откусать сегодня у меня?

Михаил Петрович поблагодарил адмирала.

— Ну, а теперь узнайте, Вербицкий, отчего Васька не докладывает, что готов кофе. Что он морит меня голодом, каналья? Шуганите его хорошенько.

Шустрый флаг-офицер хотел было ринуться со всех ног исполнять адмиральское приказание, как в ту же минуту на полуюте показалась маленькая заспанная фигурка адмиральского камердинера в красной жокейской фуражке.

Он подошел, не особенно спеша, к адмиралу и, галантно приподнимая фуражку с своей черной кудластой головы, проговорил:

— Пожалуйста кофе кушать.

— Копаешься! — воркнул адмирал.

— У меня не десять рук, а всего две! — огрызнулся Васька и пошел назад.

— Ишь ведь bestия! Поздно встал и... прав! — проговорил, улыбаясь, адмирал. — Вербицкий! Пожалуйста ко мне кофе пить! — приказал он и спустился с юта, сопровождаемый флаг-офицером.

— А ведь этот мальчик карьеру сделает, Михаил Петрович! — заметил Леонтьев.

— А что ж, пусть делает! — равнодушно

промолвил старший офицер.

— И если будет нужно, продаст этого самого адмирала, перед которым лебезит.

— И это возможно.

— Удивляюсь, как адмирал его не раскусил...

— А быть может, и раскусил... да привык к нему. Привычка, батюшка, большое дело... А кроме того, Вербицкий прирожденный флаг-офицер, ну и способный малый — этого отнять у него нельзя.

— Несимпатичный... карьерист...

— А вам, Сергей Александрович, хочется, чтобы все были симпатичны?.. Какой еще вы юный, однако, батенька! — ласково улыбнулся Михаил Петрович своими маленькими, покрасневшими глазами в очках и прибавил: — Пойду-ка и я напьюсь чайку... Ужасно устал, признаться. После восьми часов и я закачусь спать... Всю ночь не спал из-за этих починок.

В начале шестого часа, когда солнце быстро клонилось к закату, «Резвый», имея в кильватере «Голубчика», входил в прелестную бухту Нагасаки, живописно расположенного

в ее глубине.

Все были наверху, и на корвете царила торжественная тишина, обычная при входе военного судна на рейд, да еще в чужие люди.

На рейде стояли четыре русских военных судна, два корвета и два клипера, принадлежащие к составу эскадры Тихого океана, которым было приказано собраться в Нагасаки и там ждать адмирала, и несколько военных судов других наций.

Едва только «Резвый» под контр-адмиральским флагом на крьюйс-брам-стеннге показался в виду эскадры, как со всех судов раздался салют адмиральскому флагу, и на «Резвом» тотчас же последовал ответ. Вслед за тем салютовали и иностранные суда, и им тоже отвечали.

Когда рассеялся дым от выстрелов, «Резвый» бросил якорь, и все шлюпки были спущены. «Голубчик» стал рядом.

Как только отдан был якорь, со всех судов отвалили гички и вельботы с командирами, которые спешили к адмиралу с рапортами. У всех были щегольские шлюпки. Только командир «Голубчика» приехал на своей един-

ственно уцелевшей маленькой четверке.

Один за другим входили капитаны в полной парадной форме на «Резвый», встречаемые караулом, и, несколько напряженные и взволнованные, проходили в адмиральскую каюту.

Адмирал принимал всех приветливо, расспрашивал о плавании, о состоянии судов, обещал побывать на всех судах и пригласил капитанов обедать «ровно в шесть». И так как возвращаться на свои суда было поздно, то все капитаны собрались в капитанской каюте и в ожидании обеда были гостями радушного Монте-Кристо, который немедленно приказал вестовому подать разных вин и предложил всем выпить по рюмке, по другой «на черنو».

Нечего и говорить, что главной темой разговоров были общие расспросы о шторме, об адмирале и об его предположениях. Куда и кого он пошлет? Не слышно ли, какие суда возвращаются в Россию?

Насчет шторма Монте-Кристо не вдавался в большие подробности.

— Трепануло изрядно, ничего себе, — гово-

рил он, разливая в бокалы шампанское, — грот-мачту, как видите, потеряли. А куда кто идет — разве адмирал сообщает! Этого и Аркадий Дмитрич не знает! — засмеялся Монте-Кристо.

— И меня он не посвящает в свои предположения! — вставил флаг-капитан.

— Да и не все ли равно, господа, узнать днем позже, днем раньше, кто куда идет... Я и сам не знаю, куда мы идем: в Австралию или на Ситху... Аркадий Дмитрич говорил, что в Австралию...

— Адмирал как-то сказал...

— А я не удивлюсь, если он вздумает вдруг идти в Берингов пролив...

Все рассмеялись.

— От него всего можно ожидать! — заметил кто-то.

— То-то и есть... А вот вы, господа, лучше расскажите, нет ли чего в Нагасаки новенького. Это, право, интереснее.

— Чего новенького?..

— Как чего?.. Неужели здесь одна и та же «королева Гортензия», что была в прошлом году?.. Неужели придется опять ухаживать за

японками?..

— Вы вот насчет какого новенького!.. Так вас можно порадовать... На днях приехали три француженки...

— Вот это дело... Каковы они?..

Один неказистый, толстенький и низенький, совершенно лысый капитан стал подробно описывать достоинства француженок. Другой, помоложе, вступился за честь японок и хвастал своей нанятой на месяц женой[20], и скоро разговор почтенных и солидных капитанов принял несколько одностороннее и игривое направление.

Решено было, что все капитаны отправятся сегодня же вечером знакомить Монте-Кристо с француженками.

Тем временем адмирал внимательно оглядывал убранство стола и говорил Вербицкому:

— Смотрите не осрамите меня с обедом... Довольно ли всего?

— Довольно, ваше превосходительство...

— Какой обед?

— Суп с пирожками, ветчина... Николай Афанасьич любит.

- Дальше?
- Индейки!..
- Сколько?
- Четыре.
- Хватит на двадцать человек?
- Хватит... Индейки большие, ваше превосходительство. Горошек и маседуан.
- Ну, смотрите же, чтобы всего было довольно.

После обеда все разъехались. Капитаны отправились на свои суда, чтобы переодеться в статское платье и сообщить старшим офицерам, чтобы все было готово к смотру, и затем все вместе поехали на берег. Монте-Кристо конфиденциально предупредил старшего офицера, чтоб его не ждали. Он, может быть, вернется к утру.

— Надо освежиться! — прибавил он, смеясь. — Не все же штормовать в море. Надоело!

Разъехались еще и раньше все офицеры и гардемарины, кроме вахтенных. Все торопились на берег погулять и познакомиться с туземными дамами и затем собраться в гостиницу, где сегодня должен был составиться

грандиозный ландскнехт. Соберутся офицеры и гардемарины всей эскадры.

На «Резвом» оставались, кроме вахтенных да старшего офицера, только батюшка да «лобастый» гардемарин, дядя Черномор.

Адмирал прочитывал у себя в каюте газеты.

В девятом часу он вышел наверх погулять.

Заметив на шканцах лобастого гардемарина, он подошел к нему и спросил:

— А вы, любезный друг, отчего не на берегу? Или на вахту станете?

— Нет-с... Не хочется что-то, ваше превосходительство...

— Ну что вы вздор говорите. Как не хочется? Почему не хочется? Съездили бы, покатались верхом... моряки любят кататься верхом, хоть и ездят как сапожники... Посмотрели бы город... А то что сидеть на корвете... Отчего вы не съехали, а?

— Как-то не расположен-с...

— Не расположены-с?.. Не поверю... Вы и в Сан-Франциско редко съезжали... Что это значит?

— Дорого стоит съезжать! — сконфуженно

проговорил молодой человек.

— Как дорого?.. Разве вам жалованья не хватает, а? Куда вы его девааете?.. Уж не продулись ли в карты?.. Говорите правду... Вас не адмирал спрашивает, а старший товарищ! — прибавил ласково адмирал.

— Я в карты не играю...

— Так куда же вы девааете ваши деньги?.. Почему не съезжаете на берег?.. Копите, что ли?..

— Какое коплю... Я... я... ваше превосходительство...

— Ну что вы тянете? Говорите, любезный друг, толком...

— Я, ваше превосходительство, оставляю большую часть своего содержания матери... У нее, кроме меня, нет никого-с! — тихо и застенчиво проговорил молодой человек.

— Так вот почему!.. Экий вы какой славный, я вам скажу, мальчик! — с нежностью проговорил адмирал, обнимая за талию молодого человека.

И, помолчав, прибавил:

— А все-таки... не мешает и вам съездить... да-с... И вы, любезный друг, напрасно не ска-

зали мне, что у вас денег нет... И знаете ли что... Позвольте мне быть вашим банкиром, а? Что вы на это скажете?

— Я не понимаю, как это банкиром?..

— Очень просто... Вы берите у меня деньги, а после отдадите, когда больше получать жалованья будете... Вы мне же одолжение сделаете... Я не буду всех своих денег тратить... Прошу вас... Пусть это между нами...

И, несмотря на протесты молодого человека, адмирал потащил его к себе в каюту и предложил взять денег. Он просил и требовал так настоятельно, что дядя Черномор взял наконец десять долларов.

— Ну, а теперь поезжайте на берег... Товарищи ваши все там... И помните, что я ваш банкир...

Адмирал сел писать письма и велел Ваське разбудить себя завтра в шесть часов.

— А мундир готовить?

— Зачем мундир?

— А смотры делать!..

— Ты, Васька, хоть и бестия, а глуп. Зачем смотры делать в мундире, когда можно и в сюртуке? Не мешай мне!

Почтовый пароход, пришедший из Гонконга на следующий день, привез европейские газеты, в которых, между прочим, сообщалось о крайне натянутых отношениях между Россией, Англией и Францией и предсказывалась вероятность близкой войны в виду известных событий 1863 года.

Беспокойный адмирал был встревожен за положение своей маленькой эскадры и еще более раздражен тем, что из Петербурга не было никаких известий об этом.

— Эдакие скоты... эдакие болваны! Всякие глупости спешат написать, а то, о чем нужно, не пишут, — громко проговорил адмирал и, видимо, взволнованный, заходил по каюте, повторяя время от времени весьма нелестные эпитеты по адресу высшего морского начальства.

Вызванный им консул не мог сообщить адмиралу никаких точных известий. Он тоже ничего не знал.

Отпустив консула, адмирал долго ходил, обдумывая свое положение, и наконец велел

сигналом потребовать к себе всех командиров судов.

Сообщив им газетные известия, он сказал:

— Если, господа, в самом деле будет война, эти подлецы англичане получают известие о ней раньше, чем мы, и могут захватить нас врасплох... У них в китайских водах огромная эскадра. Придет и разнесет нас, как дураков, благодаря тому, что у нас в министерстве сидят болваны-с!

Флаг-капитан Ратмирцев, присутствовавший в адмиральской каюте, решил сегодня же проситься в Россию по болезни и в то же время подумал, что у него есть большие козыри в руках, чтоб насолить этому ненавистному ему адмиралу в глазах морского министерства.

— Но этого не случится... не может случиться! — воскликнул адмирал, сверкнув глазами. — Нас не возьмут живьем... Я прошу вас, господа, быть во всякую минуту готовыми к бою... Орудия имейте всегда заряженными... И я не сомневаюсь, что в случае чего каждый из вас сумеет поддержать честь русского флага.

Все молча наклонили головы.

Адмирал между тем продолжал:

— Завтра же с рассветом прошу всех выйти в море и держаться у Нагасаки... Если увидите англичан или французов, клиперу «Кобчик» немедленно дать знать сюда. Я остаюсь здесь ожидать почты и ответа от посланника нашего в Иеддо... Надеюсь, что вы, Николай Афанасьич, и вы, Егор Егорыч, поторопитесь исправить свои повреждения? — обратился адмирал к командирам «Резвого» и «Голубчика».

Оба командира отвечали, что на их судах будут работать день и ночь.

— Если известия из России, — продолжал адмирал, — подтвердят газетные сообщения, каждый из вас, господа, получит от меня инструкцию. А пока прошу держать в тайне то, что я вам сказал, а то этот англичанин-фрегат, который стоит здесь, может узнать наши намерения... Объявите на берегу и всем офицерам, что идете в Гонконг... а на рассвете непременно сняться! — приказывал адмирал.

Один из капитанов заявил, что он едва ли успеет окончить расчеты с берегом.

— Чтоб были окончены! И скажите вашему ревизору, что если ему мало части дня и всей ночи, чтоб окончить все расчеты, то я его вышлю с эскадры, как нерадивого офицера... Слышите?

— Слушаю, ваше превосходительство!

Капитаны были отпущены и, разъехавшись по своим судам, сделали распоряжения об уходе с рассветом из Нагасаки в Гонконг. На «Резвом» и «Голубчике» принялись немедленно за работы, и в тот же день новые мачты были привезены с берега.

А беспокойный адмирал в это время набрасывал свой план действий на случай войны и затем стал писать инструкцию командирам и донесение в Петербург.

Все это он делал с стремительной горячностью, точно война должна быть объявлена не сегодня-завтра.

Ратмирцев несколько раз в течение дня спрашивал Ваську, что делает адмирал, и каждый раз получал ответ, что адмирал пишет.

Наконец, уже вечером, флаг-капитан опять осведомился у камердинера.

— Пишет! — отвечал Васька.

— А как он... в духе? — спрашивал Ратмирцев.

— Не должно быть, Аркадий Дмитрич... Да вче я подавал ему стакан лимонада, так он... уставил довольно даже грозно глаза, я так и полагал, что он меня кокнет этим самым стаканом...

У трусливого флаг-капитана невольно пронеслась мысль: «А что как он и меня кокнет?»

— Если угодно, я сейчас пойду посмотрю, Аркадий Дмитрич, в каком он находится теперь градусе...

— Сходи...

Через минуту Васька вернулся и доложил:

— Извольте идти к нему, Аркадий Дмитрич, он в самом лучшем, можно сказать, состоянии своего характера.

Ратмирцев вошел в адмиральскую каюту и увидал адмирала, сидевшего без сюртука за столом. Среди тишины слышно было, как шуршало перо по бумаге.

Адмирал не слышал, как вошел флаг-капитан, и, видимо, увлеченный, продолжал писать.

Ратмирцев обдернул сюртук, пригладил и без того прилизанные свои височки и чуть слышно кашлянул.

Ни малейшего результата!

Тогда флаг-капитан кашлянул громче.

Быстрым движением адмирал вздернул свою большую круглую, коротко остриженную голову и уставил на Ратмирцева глаза.

Эти глаза, блестящие и возбужденные, казалось, не видали флаг-капитана и были где-то далеко-далеко.

— Прошу извинить меня, ваше превосходительство, — начал Ратмирцев, наклоня голову в почтительном поклоне, — я, кажется, помешал вам.

Только при звуках этого почтительно-тихого голоса адмирал, по-видимому, сообразил, кто перед ним.

И он резко и недовольным тоном спросил:

— Что нужно-с?

— Я пришел к вашему превосходительству с просьбой, большой просьбой, и смею думать, что ваше превосходительство...

Адмирал положил перо и нетерпеливо перебил:

— Да говорите короче, Аркадий Дмитрич, а то вы всегда удивительно мямлите... В чем дело?

Но Ратмирцева недаром же прозвали «придворным сусликом». Внутренне негодуя на этого «грубого мужика» (распишет он его в Петербурге!), он тем не менее продолжал тем же почтительно-изысканным тоном, чуть-чуть ускоряя речь:

— Как ни лестно мне служить под непосредственным начальством вашего превосходительства, но болезненное мое состояние...

— Вы хотите вернуться в Россию, Аркадий Дмитрич? — снова перебил адмирал, но на этот раз голос его звучал веселой и довольной ноткой.

— Точно так, ваше превосходительство, если вам угодно будет отпустить меня...

— Что ж, с богом, Аркадий Дмитрич. Если здоровье ваше требует, удерживать не стану и, как больному, разрешаю вернуться в Россию на казенный счет, — любезно прибавил адмирал.

Ратмирцев рассыпался в благодарностях. Отправки на казенный счет он не ожидал.

— Вы когда хотите ехать, Аркадий Дмитрич?

— С первым пароходом, отправляющимся в Гонконг.

— Рекомендую из Гонконга идти в Европу на французском пароходе... Отличные пароходы...

— Я так и думал, ваше превосходительство.

— Вы как думаете: прямо в Петербург или по дороге заедете в Париж?

— Хотелось бы кое-где побывать в Европе.

— И отлично... А как приедете в Петербург, расскажите Шримсу, как мы здесь плаваем и как сумасшествует «башибузук»... Они меня так называют, я знаю! — усмехнулся адмирал... — Ну, до свиданья пока, Аркадий Дмитрич, у меня много работы! — сказал адмирал, протягивая Ратмирцеву руку... — Да прикажите Вербицкому завтра же выдать вам деньги, какие полагаются! — крикнул он вдогонку.

Ратмирцев вышел из каюты адмирала очень довольный. С деньгами, какие он получит, можно будет побывать в Париже и вооб-

ще попутешествовать, не стесняясь. В свою очередь, и адмирал был рад, что избавился от этой «золотушной бабы», как презрительно называл он за глаза флаг-капитана.

«То-то будет сплетничать Шримсу на меня!» — подумал он, усмехнувшись, и снова принялся за работу.

На рассвете следующего дня все суда эскадры, за исключением «Резвого» и «Голубчика», снялись с якоря и вышли в море, сопровождаемые сигналом на флагманском корвете, изъяслявшим удовольствие адмирала. Сам адмирал, невыспавшийся, с красными глазами, стоял на мостике и смотрел в бинокль на удаляющуюся в стройном порядке маленькую эскадру.

И когда она скрылась, он, видимо, удовлетворенный, лег опять спать, с полной уверенностью, что эта маленькая эскадра в случае войны кое-что сделает.

Через три дня усиленных работ и «Резвый» и «Голубчик» были готовы к выходу в море.

Наконец, на четвертый день, пароход, пришедший из Шанхая, привез почту из России. Секретная бумага из морского министерства

подтверждала сообщения иностранных газет и предписывала адмиралу собрать эскадру и немедленно идти в Николаевск-на-Амуре, где и находиться в безопасности от неприятельского захвата в случае войны.

— Болваны! Так я вас и послушался! — крикнул гневно адмирал.

И он немедленно же прибавил к своему донесению, что считает невозможным исполнить такое приказание и оставаться все время в бездействии. В подробном же донесении, написанном еще раньше, он сообщал, что соберет всю эскадру в Сан-Франциско и, получив по телеграфу извещение о войне, отправит все свои суда в крейсерство для ловли английских купеческих кораблей и для внезапных нападений на английские колонии. Вот что он намерен сделать, вместо того чтобы позорно запереться в Николаевске-на-Амуре. Одновременно с донесением к морскому министру адмирал написал и рапорт августейшему генерал-адмиралу.

В тот же вечер Ивков был позван к адмиралу.

— Я вас посылаю курьером в Россию с важ-

ными бумагами, Ивков, — проговорил адмирал, пожимая руку молодому человеку.

— Слушаю, ваше превосходительство! — проговорил изумленный Ивков.

— Завтра утром мы уходим, а вы останетесь в Нагасаки и на первом пароходе отправитесь в Печелийский залив, а оттуда через Пекин в Сибирь и в Петербург... Надеюсь, что вы оправдаете мое доверие и докажете, что моряки могут летать не хуже фельдъегерей.

— Постараюсь.

— Я уверен, потому и выбрал вас. Предприятие и деньги на дорогу вам выдадут сегодня же, а завтра в семь часов утра будьте готовы и приходите ко мне за бумагами... Берегите их... Из Петербурга, если хотите, вернетесь на эскадру... Хотите?

Ивков, уже мечтавший об отставке, поколебался.

— Ну, как хотите... Станный вы мальчик... Я хочу вас иметь подле себя, а вы чураетесь этого... А ведь я очень расположен к вам, Ивков. Из вас вышел бы хороший моряк... все данные есть... А вы вот вместо того все стихи пишете и адмирала своего ругаете... Ну, иди-

те, собирайтесь.

На следующее утро ровно в семь часов Ивков уже был у адмирала.

Тот вручил ему маленькую сумку с бумагами и велел при себе надеть ее на грудь под рубашку. Затем он обнял Ивкова, крепко поцеловал его и сказал:

— Телеграфируйте в Сан-Франциско, когда приедете в Петербург.

— Слушаю-с.

— А теперь послушайте, мой милый, дружеского совета. Не сломайте себе шеи в Петербурге, понимаете? Вы слишком увлекающийся и горячий... А в Петербурге разные кружки... Новые там идеи... Подавай все сразу. Того и гляди, попадетесь в какую-нибудь историю... Право, возвращайтесь лучше на эскадру, ко мне...

— Я подумаю.

— Подумайте и сейчас же телеграфируйте — я вас вытребую сюда. И помните, Петя, — прибавил горячо адмирал, — что где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, у вас есть верный и любящий друг... вот этот самый «глазастый черт»! — заключил, ласково улы-

баясь, адмирал. — Ну, прощайте... Христос с вами.

В десять часов утра «Резвый» и «Голубчик» снялись с якоря. Как только они вышли в море, на обоих судах были заряжены орудия, и оба судна были вполне готовы к немедленному бою. В скором времени показалась эскадра, и на флагманском корвете взвился сигнал: «Лечь в дрейф». Вслед за тем мичман Вербицкий развез всем командирам запечатанные пакеты с инструкциями, и, когда вернулся, адмирал велел поднять сигнал: «Следовать в Сан-Франциско без замедления».

Все недоумевали, зачем это эскадра идет в Америку, если ожидают войны.

А Ивков через четыре дня уже был в Печелийском заливе и высадился в Таку. Оттуда он немедленно отправился в китайской одноколке на мулах в Тяньзин и дальше — в Пекин. Доехав из Пекина до Калгана, пограничного города в Монголии, верхом, в сопровождении казака из посольства и китайского чиновника, он в Калгане купил двухколесную монгольскую телегу и на почтовых монгольских лошадях день и ночь скакал через Го-

бийскую степь, приводя в ужас бешеной ездой сопровождавших его, меняющихся через несколько станций, китайских чиновников. В Кяхте он пересел на перекладную и уже один поехал в Петербург.

Адмирал отлично знал, как нужно было подействовать на самолюбивого юнца, чтоб заставить его лететь сломя голову. Ивков скакал как сумасшедший дни и ночи на курьерских, останавливаясь на станциях, чтоб наскоро поесть, всего в сложности не более часа в сутки, и действительно приехал из Нагасаки через Китай и Сибирь необыкновенно скоро в Петербург.

Прямо с вокзала он отправился к морскому министру. Курьер в приемной сказал, что можно идти без доклада прямо в кабинет.

Ивков вошел и увидел за большим письменным столом полную, рыхлую фигуру адмирала Шримса, в раскрытом халате, под которым была только ночная сорочка.

Несколько адмиралов и офицеров в мундирах сидели и стояли около. Адмирал Шримс что то рассказывал и заливался густым, сочным смехом.

— Откуда это вы в таком виде, молодой человек? — удивленно воскликнул министр, увидав остановившегося у дверей запыленного и истомленного Ивкова. — Где это вы ночь кутили, а? Видно, прямо из веселой компании да к министру? — со смехом говорил Шримс, хорошо известный морякам своими циническими шуточками и фамильярностью обращения, шутливо грозя пальцем. — Подходите-ка поближе... дайте на вас посмотреть... Не бойтесь, не укушу.

Несколько изумленный таким приемом, Ивков подошел к столу, поклонился и хотел было проговорить обычную фразу представления, как адмирал Шримс, протягивая свою большую белую и пухлую руку, продолжал с обычным своим видом балагура, шутки которого должны доставлять удовольствие подчиненным.

— Ну-с, рекомендуйте. Откуда и зачем пожаловали?

— Гардемарин Ивков...

— Покойного Андрея Петровича сын?

— Точно так, ваше высокопревосходительство. Только что прибыл из Нагасаки с эскад-

ры Тихого океана... Ехал через Китай и Сибирь.

— А какой сумасшедший прислал вас сюда? — смеясь и, видимо, нарочно спросил министр.

— Меня прислал не сумасшедший, ваше высокопревосходительство.

— А кто же? — с лукавой улыбкой перебил Шримс.

— Начальник эскадры Тихого океана, свиты его величества контр-адмирал Корнев с бумагами к вашему высокопревосходительству! — отвечал с самым серьезным видом Ивков, сильно разочарованный таким шутивым отношением к возложенному на него поручению. Он скакал день и ночь — и такая странная встреча.

Он подал министру толстый пакет и отступил от стола.

— Ишь ведь загорелось... Курьеров гоняет наш неукротимый Корнев! — заметил, усмехнувшись, министр, обращаясь к сидевшим в креслах двум адмиралам.

И адмиралы, и почти все присутствующие поторопились засмеяться.

Небрежно поворачивая в своих белых пальцах пакет, словно бы желая показать, что не придает особенной важности приведенным бумагам и не торопится ознакомиться с их содержанием, министр спросил Ивкова:

— На эскадре все благополучно?

— Все благополучно, ваше высокопревосходительство! — отвечал молодой человек, чувствуя невольную обиду за своего «глазастого черта».

— Ну что, очень вас всех разносит там ваш адмирал? Топчет фуражку? Задает вам перцу? Небось рады, что уехали с эскадры? Говорите, не стесняйтесь, молодой человек.

Ивков хорошо понял, что этот веселый толстяк с умным, заплывшим, когда-то красивым лицом, сделавший блестящую карьеру, никогда не бывавши в море, ждет от него подтверждения, чтоб позабавиться насчет беспкойного адмирала, видимо, не очень-то любимого министром.

Но вместо того чтобы ответить в тон, Ивков, чувствуя сильное негодование против этого шутника-циника, проговорил с некото-

рой аффектацией официальности и слегка возбужденным тоном:

— Начальника эскадры все слишком уважают и любят, ваше высокопревосходительство, чтоб не желать служить под его начальством... И никто из моряков, любящих дело, не в претензии, если адмирал, случается, делает выговоры и замечания... От такого моряка-адмирала, как Иван Андреевич, хоть и неприятно получить замечание, но всякий знает, что он делает их справедливо.

Министр пристально оглядел молодого человека, и с его лица сбежала улыбка.

— Вы любимчик вашего адмирала, что ли?

— Я ничьим любимчиком не был и не желаю им быть, ваше высокопревосходительство! — отвечал, весь вспыхивая, Ивков.

— Ого, какой он вернулся из жарких стран горяченький! Советую вам здесь поостыть, молодой человек. Так то оно лучше будет! — полушутя, полусерьезно промолвил министр. — Ну, с богом, родной... Ступайте... Приведите себя в надлежащий вид да явитесь по начальству, куда там следует... А я еще вас позову.

Ивков поклонился и вышел.

Когда он ехал в гостиницу, в голове его невольно явилось сравнение, и этот «глазастый черт», этот «Ванька-антихрист», которого он казнил в стихах, казался ему куда симпатичнее, милее и нужнее для флота, чем этот толстяк министр... Какая разница!

## XXI

С тех пор прошло много лет.

Все эти «Резвые» и «Голубчики» давно пошли на слом и остались лишь в памяти старых моряков, которые на них плавали в дальних морях и учились своему тяжелому ремеслу под начальством такого преданного делу учителя, каким был беспокойный адмирал. Деревянный паровой флот вместе с парусами как-то быстро исчез, и на смену его явились эти многомиллионные гиганты броненосцы, оскорбляющие глаз моряков старого поколения своим неуклюжим видом, похожие на утюги, с маленькими голыми мачтами, а то и вовсе без мачт, вместо прежнего красивого рангоута, но зато носящие грозную артиллерию, имеющие тараны и ходящие бла-

годаря своим сильным машинам с такою быстротой, о которой прежде и не помышляли.

С обычной своей энергией отдался беспокойный адмирал делу реорганизации флота и несколько лет сряду пользовался большою властью и видным влиянием. Не бывши министром, он благодаря своей кипучей деятельности и авторитету значил не менее министра, и без его участия или совета не строилось в те времена ни одного судна. В своем кабинете, окруженный чертежами, беседующий с инженерами, увлекающийся приходившими в его голову новыми типами судов, разносящий какого-нибудь опоздавшего мичмана или приходящий в бешенство при посещении строящегося судна, где копались и делали не так, как, казалось ему, было нужно, — он был все тот же беспокойный адмирал, что и на палубе «Резвого», так же умел вносить «дух жизни» в дело и заставлял проникаться этим живым духом других.

В его кабинете толпилась масса народа. Зная его влияние, в нем заискивали, ему льстили, перед ним казались увлеченными

делом так же страстно, как и он сам. В нем видели будущего морского министра, и каждый ловкий человек старался эксплуатировать его доверчивость к людям. И он часто верил показной любви к делу и выводил в люди каждого, в котором видел эту любовь и признавал способности...

Нечего и прибавлять, что многие завидовали беспокойному адмиралу и ругали его. Особенно бранили его бездарные моряки и те ленивые поклонники канцелярщины и мертвечины, которых словно бы оскорблял своей энергией и преданностью делу этот беспокойный, во все вмешивающийся адмирал.

Они просто служили, исполняя с рутинным равнодушием свое «от сих и до сих», а этот вечно волновался, вечно кипятился, вечно представлял какие-то новые проекты, какие-то записки...

Но вот настали новые времена... Запелись иные песни. Во флоте появились новые люди, и деятельность адмирала сразу была прекращена.

Его, еще полного сил и энергии, сдали в архив.

И — как обыкновенно случается — все те, которые больше всего были обязаны беспокойному адмиралу, все те, которые чаще других обивали порог его кабинета, отвернулись от него, словно бы боясь потерять в чьих-то глазах, продолжая бывать у адмирала.

И первый, разумеется, Вербицкий, только что произведенный благодаря Корневу в контр-адмиралы.

Еще бы! Беспокойный адмирал был почти что в опале, совсем бессильный, нелюбимый и даже оклеветанный. А главное, в то время было выгодно бранить все прежнее во флоте: и дух, и систему, и корабли, и беспокойного адмирала, как одного из выдающихся представителей и пользовавшегося особенным расположением прежнего главного руководителя флота.

Новым людям необходимо было показать, что все прежнее негодно и что у них есть своя программа возрождения.

Явился пресловутый ценз... Явился какой-то бухгалтерский и чисто коммерческий взгляд на службу; всякая посредственность, бездарность и наглость высоко подняла голо-

ву, и затем мало-помалу молодым поколением овладел тот торгашеский дух, который стал руководящим принципом. Моряки почти разучились плавать и почти не плавали. Всякий старался зашибить копейку и поскорей «выплавать ценз», а где и на чем — на пароходе ли, делающем рейсы между Петербургом и Кронштадтом, или на броненосцах, отстаивающихся на грандзундском рейде, — не все ли равно?

На пароходе даже спокойнее. Так или иначе, а всякий умеющий не беспокоить начальство будет в свое время командиром и имеет все шансы посадить на мель судно на кронштадтском рейде. Этот торгашеский взгляд на службу и эта полная индифферентность к другим, высшим идеалам морского служения сделали свое дело. По мере того как увеличивалось количество гигантов-броненосцев и торжествовал «культ гроша», обезличивались люди и исчезал тот истинно морской дух, та любовь к делу и то обычное у прежних моряков рыцарство, которые являлись как бы традиционными и без которых все эти чудеса техники являются лишь бесполезными и до-

рогостоящими игрушками.

Подобные мысли часто приходили в голову беспокойного адмирала, и он горько задумывался, расхаживая по своему кабинету в долгие дни своего служебного бездействия и заброшенности, но уже не прежней порывистой и энергичной походкой, какой, бывало, ходил по палубе «Резвого», а тихими и медленными шагами престарелого человека.

В этих грустных думах, в разговорах с немногими близкими людьми, которые навещали его, не было ничего личного. Он знал, что его песня давно спета, и не о себе думал он, не о тех обидах и ослиных ляганиях, которые пришлось ему испытать, особенно вслед за опалой, а о судьбе горячо любимого им флота.

Несмотря на свои семьдесят с хвостиком лет, он глядел еще бодро. Седой как лунь, со своей коротко остриженной головой и большими круглыми глазами, он все еще сохранил остатки прежней неукротимой энергии, а по временам напоминал прежнего беспокойного адмирала в его «штормовые» мину-

ты. Сильно уходился он, но стихийная натура все-таки прорывалась.

Потребность деятельности еще сильно жила в нем, и он старался выдумать ее... Дома читал, читал много и следил за морским делом. Посещал разные общества, в которых был членом, и всегда за кого-нибудь да хлопотал, за кого-нибудь да просил, являясь к разным влиятельным лицам в мундире и орденах, и настойчиво рекомендовал того «хорошего человека», который обращался к нему за помощью, и радовался, как ребенок, когда ему удавалось что-нибудь сделать, особенно для прежних своих сослуживцев.

А Леонтьев, когда-то назвавший адмирала «бешеной собакой» и принужденный оставить морскую службу вследствие того, что неосторожно отозвался в клубе об одном молодом адмирале как о человеке, слишком фамильярно обращавшемся с казенными деньгами (хотя эта фамильярность ни для кого не была секретом), и, кроме того, — что было еще преступнее! — напечатал без разрешения начальства какую-то статейку, в которой критически относился к цензу и находил, что

«купеческий дух» развращает флот. — этот самый Леонтьев, оказавшийся во флоте неудобным человеком, испытал на себе истинно дружескую привязанность беспокойного адмирала.

Когда адмирал прослышал, что Леонтьев вышел в отставку и бедствует с семьей, он, без всякого вызова с его стороны, стал хлопотать за бывшего сослуживца, и у кого только не перебывал он, кому только не надоедал, пока не добился-таки, что Леонтьеву дали какое-то место.

Испытал воистину отеческую заботливость беспокойного адмирала и Ивков, давно вышедший в отставку и попавший в какую-то «историю», заставившую его прокатиться в не столь отдаленные места.

В это декабрьское утро беспокойный адмирал, по обыкновению, встал в восемь часов, и когда Ефрем, бывший матрос, состоявший камердинером при адмирале более десяти лет, принес кофе, адмирал подал ему листок бумаги с написанными на нем фамилиями и сказал:

— Сейчас сходи в адресный стол и узнай, где живут эти господа... Возьми справки... понял?

— Понял, ваше высокопревосходительство.

— Ступай.

Напившись кофе, беспокойный адмирал отправился гулять. Гулял он ежедневно, несмотря ни на какую погоду.

Возвратившись с прогулки, он взял с письменного стола телеграмму, прошел на половину к жене и, поздоровавшись с ней, проговорил:

— А я, Машенька, вчера поздно вечером получил приятную телеграмму. Слушай.

И старик несколько взволнованным голосом прочитал:

— «Бывшие командир и офицеры „Голубчика“, собравшиеся за товарищеским обедом, пьют за здоровье бывшего своего адмирала и учителя и, вспоминая плавание под вашим начальством с чувством глубокой признательности, шлют сердечные пожелания всего лучшего и выражения глубочайшего уважения доблестному и славному адмиралу, имя которого никогда не забудется во флоте».

— Вспомнили, Машенька, и как тепло... Не правда ли? Уж я послал Ефрема узнать адреса подписавших телеграмму, чтоб сегодня же побывать у них и поблагодарить. И чего этот болван так долго шляется! — внезапно крикнул адмирал и, круто повернувшись, прошел в кабинет.

Этот Ефрем был глуп, честен и предан своему барину, который, в свою очередь, любил Ефрема и привык к нему, не переставая, впрочем, удивляться его глупости и выражать иногда это удивление в довольно энергичной форме.

Привычку свою к Ефрему, несмотря на его глупость, беспокойный адмирал довольно оригинально и неожиданно приводил иногда

как доказательство того, как трудно иногда бывает менять министров.

— Ведь вот, например, Ефрем — болван, естественный болван, а я держу его десять лет! — говорил адмирал.

Беспокойный адмирал крикнул другого лакея и, приказав закладывать карету, тревожно заходил по кабинету, поводя плечами.

Наконец Ефрем явился и с радостно-глупым видом подал справки из адресного стола.

— Отчего так поздно?

— А я, ваше высокопревосходительство, по пути заходил к портному за вашим сюртуком.

— Я разве тебе приказывал?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

— И какой же ты, Ефрем, болван, я тебе скажу! Ступай, вели подавать карету! — проговорил довольно мягко адмирал, бывший в хорошем настроении по случаю полученной телеграммы.

Возвратившись домой, беспокойный адмирал рассказывал жене, как он разыскивал квартиры и поднимался в пятые этажи.

— И только троих застал. Остальным оста-

вил карточки... И знаешь ли что, Машенька? Я приглашу их всех обедать... Надо отблагодарить за внимание... И Леонтьева и Ивкова позову... Завтра же позову! Так ты распорядись, Машенька.

— Хорошо.

— И к этому дураку Любимову заезжал сегодня.

— Зачем?

— Надо было за одного человека попросить... Но эта скотина ничего не хочет сделать, Машенька... Ведь дурак, а воображает себе, что если был министром, то и умен... От него же новость услышал. Ратмирцев, — знаешь этого вылощенного болвана Ратмирцева?

— Ну, знаю, — улыбнулась адмиральша, давно привыкшая к энергической речи адмирала.

— Его старшим флагманом назначают... Эту бабу!! Этого «придворного суслика», как звали его мичмана на моей эскадре... С такими флагманами далеко не уедешь! — раздраженно проговорил беспокойный адмирал.

Он помолчал с минуту и, видимо, смягчившись, сказал:

— Да... вот говорят, что люди неблагодарны и забывают многое... А вчерашняя телеграмма, а?.. Что ты скажешь, Машенька?.. Есть, значит, люди, которые помнят, что я кое-что сделал для флота.

— Поверь, что все это сознают в душе, — горячо проговорила адмиральша.

— Ну, едва ли... Теперь, Машенька, не моряки, а торгоши... Духа нет... Ну да что говорить...

Адмирал как-то безнадежно махнул рукой, пошел в свой кабинет и принялся читать «Times».

Но сегодня ему не читалось.

Прошрое и настоящее проносилось перед брошенным стариком, и он горько задумался, склонив свою седую голову.

# ОЗАРЕНИЕ (послесловие)

*Ранней весной 1891 года к господскому дому в имении Гундуровка подъехал экипаж. Событие это было неожиданным, ибо стояла самая распутица, здесь, в глухом углу Самарской губернии, дороги совершенно раскисли, отчего и ближние соседи воздерживались наносить визиты друг другу. Цокот копыт, естественно, привлек внимание, к окнам небольшого двухэтажного домика прилепились любопытствующие физиономии.*

*Из экипажа, густо обляпанного грязью, тяжело вылез грузный пожилой господин, всем обитателям дома равно незнакомый. Выбрав на дорожке, что вела к крыльцу, место посуше, он неловко затоптался, разминая затекшие ноги, с интересом стал оглядываться кругом. Его просторное пальто, изрядно помятое в дороге, несло на себе отпечаток столичной элегантности. Лицо приезжего имело приятное, доброжелательное и в то же время за-*

думчивое выражение. А когда оглядывал он мокрые кусты и деревья, в глазах обозначилась живая радость, свойственная людям, глубоко вбирающим в душу каждое подаренное им судьбой впечатление бытия. Сырой весенний ветер трепал густые, слегка тронутые сединой каштановые волосы, играл небольшой аккуратно подстриженной бородкой...

Дождавшись, когда возница извлечет из экипажа багаж, господин двинулся к крыльцу. В передней, куда спешно явились хозяева Гундуровки, приезжий представился: Станюкович Константин Михайлович, литератор из Петербурга.

— Станюкович! — всплеснула руками Надежда Валериановна Михайловская. — И просто литератор! Да вы же, Константин Михайлович, можно сказать, один из столпов отечественной словесности. Повелитель умов! Мы здесь, в глуши, сочинения ваши читали захлеб. И вы у нас в гостях! Какая честь!

Константин Михайлович ответил на комплимент смущенной улыбкой. Од-

нако, видимо, испытал при этом волнение, что выразилось весьма неожиданным образом: левая сторона его лица дернулась. То ли стараясь, чтобы нервный тик не испугал молодую хозяйку, то ли спеша объявить о цели своего визита, Станюкович повернулся к ее супругу, Николаю Георгиевичу, и торопливо сообщил, что прочитал его рукопись "Письма из деревни", переданную в журнал "Русское богатство", был глубоко ею восхищен, а потому счел долгом своим предпринять эту поездку, дабы познакомиться с Михайловским, изложить ему те мысли, что нахлынули во время чтения, да и вообще взять на себя роль, если позволительно так выразиться, крестного отца начинающего писателя - ввести его в столичные литературные круги. Речь гостя произвела на хозяина сильное впечатление. И когда Константин Михайлович под конец ее смущенно развел руками, Михайловский схватил их, сжал в своих маленьких аристократических руках, однако оказавшихся необычайно крепкими.

— Благодарю! — сказал он. — От души

благодарю!..

*В тот визит, продолжавшийся несколько дней, решено было, что печатать будет Николай Георгиевич свои сочинения под псевдонимом. А псевдоним был избран — Гарин — по имени годовалого сына Михайловских Георгия, которого в семье называли Гаря...*

*Вовсе не сознание того, что знаком с творчеством Станюковича и его эпохой более других, побудило меня взяться за перо, но ощущение духовного единения с автором "Морских рассказов". Наверное, причиной тому и мой опыт морских путешествий, ибо кто долгие месяцы провел в море, кто "об изгибах зеленых зыбей" знает не по книгам, не может не испытывать чувства величайшего почтения к первому, по сути дела, в отечественной литературе писателю-маринисту. Потому-то я не стану вести речь о материях внимательному читателю известных, но постараюсь передать, каким видится мне Станюкович — человек, моряк, писатель.*

*А при таком подходе эпизод, с которо-*

го начал, представляется немаловажным. О нем и приглашаю поразмышлять вместе со мною тех, кто открыл эту книгу.

Представьте себе, как труден был сто лет назад путь от Петербурга до дальнего имения в Самарской губернии. Трое, а то и четверо суток в тряском вагоне, а потом еще семьдесят верст на лошадях по весеннему бездорожью. И отправляется в этот вояж человек (по понятиям тех времен) возраста солидного — сорока восьми лет. За плечами его и флотская служба, и тюрьма, и ссылка, и потери близких, и болезни, и, наконец, воистину всероссийская литературная слава.

Такому почтенному господину вовсе вроде бы не пристало поддаваться первому душевному движению. Нужно бы о себе думать, о здоровье своем, о еще ненаписанных сочинениях, которых с нетерпением ждет читающая публика. Тем паче и повод вовсе не столь уж значителен: мало ли рукописей, отмеченных печатью таланта, перечитал он за четверть века работы в литературе. Начинающий автор и тем уже

был бы польщен, если маститый собрат удостоил его письмецом в несколько благосклонных строк...

Думаю, Станюковичу такого рода соображения и в голову не пришли. Увидел за строками сочинения неизвестного автора душу родную и, почувствовав острейшую потребность в общении, немедленно собрался в дорогу. Словом, вполне ординарный для биографии Станюковича эпизод логически вытекает из всего опыта сокровенной внутренней жизни писателя. Каков же был этот опыт? Чем отличался от опыта других современников?

Лишь самый первый этап его биографии более или менее традиционен. Родился Константин Михайлович Станюкович в 1843 году. Отец — полный адмирал, человек властный до самодурства, убежденный, что, достигнув высшего флотского чина, он и жизнь понял до самых ее глубин. А коли так, точно ему, флотоводцу, ведомо, каким курсом — самым достойным и великим — должны следовать по жизненным дорогам многочисленные его чада, в том числе и сын Константин.

*Курс ясный: Морской корпус, затем Российский военный флот, где обязан показать себя отпрыск полного адмирала верным слугой бога, царя и Отечества, мужеством своим и волей укрепить в океанских походах и ристалищах славу предков.*

*И первые мили по жизненному пути проходит будущий писатель в точном соответствии с отцовским замыслом. Однако дальше — сбой: еще не завершив учебы в Морском корпусе, ощутил кадет Станюкович острейшую тягу к сочинительству. Возникла мечта об университете, захлестнуло желание стать литератором. Потому обращается он к отцу с просьбой дозволить оставить морскую карьеру ради сочинительства.*

*Но желание сына воспринято адмиралом как бунт на корабле. Юноша, забывший о дворянской чести, о рыцарском служении престолу, изгоняется из дома. Однако это лишь самая малая кара. Чтобы сломить волю кадета, полный адмирал обращается к власти предрержащим. Он отправляется на прием к самому морскому мини-*

стру. Дело улаживается мгновенно. Константин Станюкович получает назначение на винтовой корвет "Калевала"; кадет, хоть и молод, но человек военный — знает: приказы не обсуждаются.

18 октября 1860 года "Калевала" выходит в кругосветное плавание. Возвращается Константин в столицу России 28 сентября 1863 года. За три прошедших года он побывал в Германии, Англии, Китае, провалялся несколько месяцев во владивостокском лазарете с жесточайшей лихорадкой, посетил Индокитай и североамериканские Соединенные Штаты. Служил на разных судах Тихоокеанской эскадры, был произведен в гардемарины, состоял при адмирале эскадры А.А. Попове, который, в конце концов, и отправил его по сушу в Петербург (через Китай и Сибирь) с экстренными бумагами к морскому министру.

По возвращении на Родину Станюкович получает чин мичмана, служить ему назначено в Петербурге. Словом, открываются все возможности для быстрой и блистательной карьеры. Но

он, как и прежде, мечтает о литературе. На хлопоты об отставке уходит еще год, и, наконец, высочайшим приказом по флоту Станюкович уволен от службы "с награждением лейтенантского чина".

Происходит полный и окончательный разрыв с отцом, а это значит, что начинающий сочинитель может рассчитывать лишь на собственный заработок. К тому времени литературный его багаж совсем невелик: с десяток стишков, опубликованных еще в кадетские годы, несколько очерков из морской жизни, полных экзотики и опасных приключений. Интересы к автору этих сочинений у серьезной критики не возникло.

Отставному лейтенанту становится ясно, что как бы ни были скромны его потребности, литературным трудом ему не прокормиться. И Станюкович решает, что на первых порах будет сочетать занятия сочинительством со службой на практическом поприще. Молодой литератор полон сочувствия передовым идеям эпохи, он страстно жаждет пером своим пропагандиро-

вать эти идеи, а для этого надо, считает Станюкович, познакомиться ближе с жизнью крестьян, городского люда, трудовой интеллигенции.

Осуществляя свой замысел, меняет он множество мест службы: работает учителем сельской школы во Владимирской губернии, затем в различных управлениях железных дорог, в обществе поземельного взаимного кредита. Живет то в Петербурге, то в Курске, то в Харькове, то в Ростове-на-Дону. Много ездит по делам службы.

В журналах и газетах появляются его очерки, рассказы, публицистические статьи, рецензии, наконец, повести, романы, пьесы. Трудолюбие сочинителя приносит свои плоды: имя его на слуху. Репутация профессионального литератора становится год от года все более прочной. Гонорары за сочинения постепенно превращаются в основной источник существования. И хотя в 1867 году Константин Михайлович стал семьянином, пошли дети, отчего и жизнь потребовала несоразмерно больших, чем в холостую пору, средств, через десять лет после же-

нитьбы он решается оставить службу, целиком посвятив себя писательству.

Однако литературный успех далеко не тот, о котором мечталось. Да, публика встречает сочинения благосклонно, но только благосклонно. Его работы привлекают призывами к служению народу, но им явно не хватает оригинальности. В них нет того, что делает писателя кумиром публики — открытия новых характеров, ситуаций, пластов реальности, свежих мыслей. Так проходит два десятилетия с лишним работы в литературе. Ему перевалило за сорок, наступает возраст зрелости, когда трудно надеяться на чудо...

Поворотным в литературной судьбе Станюковича стал 1885 год, казалось бы, для чудес вовсе не подходящий, ибо принес он Константину Михайловичу в таком обилии беды и несчастья, в каком не выпадают они большинству людей за целую жизнь.

Впрочем, черная полоса его биографии началась еще двумя годами раньше, когда объявили врачи, что тяжело

больна любимая дочь двенадцатилетняя Люба. Константин Михайлович отправляет жену с дочерью за границу, а в конце декабря, обеспокоенный состоянием здоровья Любы, сам спешит за ними во французский город Ментон. Едет ненадолго, ибо в Петербурге ждет масса неотложных забот: в декабре 1883 года Станюкович впервые стал самостоятельным издателем — купил в рассрочку журнал "Дело" и мечтает превратить его в рупор передового общественного мнения. Улаживаются финансовые проблемы, идут переговоры с авторами, подбираются новые сотрудники.

Но состояние здоровья Любы резко ухудшается. Возвращается Станюкович, как писала мемуаристка, близко его знавшая, "внутренне подавленный и убитый мыслью о неизбежной смерти любимой дочери". Однако в Петербурге приходится преодолевать себя и заниматься новым изданием, которое с первых же шагов привлекает самое пристальное внимание цензуры. Борьба "на два фронта" за несколько месяцев в конце изматывает Константина

Михайловича. Он вновь рвется к дочери, да и ему самому необходимо пройти курс лечения. В середине марта 1884 года Станюкович отправляется на известный курорт Баден-Баден, куда жена перевезла Любу.

Во время пребывания за границей писатель часто встречается с политическими эмигрантами Степняком-Кравчинским, Кропоткиным, Дейчем, Верой Засулич, Ольгой Любатович. Он не подозревает, что здесь, вдали от России, за каждым его шагом внимательно следит недреманное полицейское око. Да и откуда взяться подозрению? Константин Михайлович сочувствует народническим идеям, разделяет представления народников о будущем России. Но к практической деятельности партий "Земля и воля", "Народная воля" он непричастен.

Однако стражи порядка иного мнения о литераторе Станюковиче. Он давно уже обратил на себя внимание проповедью "нигилизма". А в ту пору, когда прошло всего три года со дня убийства государя-императора Александра II, любой контакт с вдохновителями ца-

реубийц воспринимается властями как приверженность к стану "злумышленников".

И как только писатель пересекает российскую границу, его берут под стражу. В столицу он возвращается "на казенный счет" под конвоем и сразу же препровождается в Петропавловскую крепость, где проводит целый год, ожидая решения своей судьбы.

В августе того же 1884 года умерла Люба. Метой о перенесенных в те дни страданиях отца до конца жизни остался нервный тик. По сравнению с навалившимся горем остальное казалось уже мелочами. Но для дальнейшей жизни эти мелочи имели существеннейшее значение. Журнал "Дело", в который Станюкович вложил все свои средства, принес ему полное разорение. И когда в мае 1885 года писателю объявили "высшую милость" (ему предстояла высылка на три года в Западную Сибирь, "в места не столь отдаленные"), он был так же нищ, как и двадцатью одним годом раньше — в момент увольнения из флота.

В июне того же года измученный,

больной и, казалось бы, совершенно сломленный всем, что обрушилось на него в одночасье, Константин Михайлович с семьей прибывает в Томск. И вот тут-то происходит чудо. Оказавшись за тысячи верст от океанского простора, в глубине Сибири, писатель вдруг обращается к давнему периоду своей жизни, к юности, проведенной на корабельной палубе. И в первых же написанных им в Томске морских рассказах: "Василий Иванович", "Беглец", "Матросский линч", "Человек за бортом" - жизнь русского флота, вобравшая в себя черты "береговой" российской деятельности шестидесятых годов, впервые находит колоритное, сочное отражение. Его морские рассказы дышат правдой, читатель чувствует себя так, будто сам оказался на шаткой корабельной палубе, кожей ощущает порывы ветра, соленые брызги пены, впитывает ноздрями смолистый запах снастей. Яркие, рельефные, живые люди флота - матросы, боцманы, офицеры, капитаны, адмиралы, каждый одаренный "лица не общим выражением", густой толпою сходят к

читателю со страниц новых произведений прозаика.

В дальнем деревянном Томске ему пишется легко, свободно, он познает то замечательное состояние, когда, кажется, не ты сам, но какая-то сторонняя сила, мудрая и добрая, движет по бумаге твою руку.

Откуда берется это состояние? Как оно рождается? Какая работа сознания (или подсознания?) вдруг подтолкнула уже далеко не юного литератора к морской теме? Почему он, отправленный в плавание на корвете "Калева-ла" насильно, отдавший флотской службе лишь три года, в течение которых только и выбирал подходящий момент для прошения об отставке, столь преуспел именно в описании жизни русского военного флота?

Возможно, в том и счастье (и несчастье, конечно) писательской судьбы, что многое в ней зависит от загадочной для логиков работы интуиции.

Она одна только и способна привести пишущего к этому состоянию, которое не назовешь иным словом - озарение, когда находит он и свою тему, и

свои характеры, и свои неповторимые слова.

Отбыв трехлетнюю ссылку, Станюкович возвращается в Петербург. Его уже воспринимают не "одним из многих", он занял в русской литературе свое особое уникальное место. Более того — самую отечественную словесность того времени уже невозможно представить без его морских рассказов. На него возлагают большие надежды, от него ждут новых сочинений. И автор работает, не теряя ни дня.

Как раз в тот счастливый период его жизни написаны вошедшие в эту книгу две повести, о которых естественно сказать особо. Первая из них — "Грозный адмирал" — впервые напечатана в 1891 году. Вторая — "Беспокойный адмирал" — увидела свет тремя годами позже.

В персонажах "Грозного адмирала" явно угадываются прототипы родные и близкие автора. Старшая сестра Станюковича, как сообщал он позднее в письме к жене: "рыдала, что я "оклеветал" отца в "Грозном адмирале", не

без ядовитости говорила, что все, что я пишу, проникнуто желчью".

Рецензент журнала "Русское богатство" четко определил значение повести для идейной борьбы девяностых годов прошлого века: "В лице Ветлугина, — писал он, — мы имеем портрет одного из тех "героев", которые подготовили России Севастополь и потопили в море мелочных придирок и бессмысленной формалистики все блестящие качества нашей армии. Нельзя не поблагодарить г. Станюковича за эту "потревоженную тень", вызов которой особенно уместен в наше время, когда так часто раздаются лицемерные вздохи о потерянном рае беспардонного самодурства". Правда, далее критик (хоть и в самой осторожной форме) отмечает, что автор слишком мягок по отношению "к такому безусловно отрицательному типу, как "грозный адмирал". Однако тут хочется заступиться за Станюковича. Как раз в том, что принял рецензент за мягкость, — сила его повести.

Адмирала Ветлугина Станюкович по-

казывает почти исключительно в семейном кругу. Мы видим его как бы глазами сына адмирала Сергея, судьба которого соответствует судьбе автора. Совестьливый и благородный юноша полон естественного желания любить и уважать отца. Отсюда и его попытки отыскать в грозном адмирале хоть какие-то черты, способные вызвать эти чувства. Потому и говорит автор о том, что старший Ветлугин на свой лад честен (никогда не присваивал казенных средств, заботился о том, чтобы матросы получали все им положенное), что он служил государю беззаветно: хоть и шкуры драл с нижних чинов, но и своего живота не жалел.

Однако то, что сам Сергей все же убеждается, как шатки, как недостаточны эти основания для уважения и любви, сильнее, чем строгий авторский приговор, показывает нам уродливую сущность личности адмирала. Привычка к вседозволенности, полнейшая убежденность в том, что ему известна "истина в конечной инстанции", убила все достоинства Ветлуги-

на-старшего. Этот упивающийся своим всевластием самодур совершенно потерял человеческий облик. Его извращенная психология становится причиной несчастья всех родных и близких. Мало того, строя жизнь на ложных, бесчеловечных принципах, сам адмирал, в конце концов, становится жалок. Счастье, которое он пытается создать для себя лично, тоже призрачное. Адмирал, требующий рабского подчинения от своих близких, сам становится рабом ложных взглядов, которые исповедует, рабом своей разнузданной похоти.

Корнев — герой повести "Беспокойный адмирал" — по замыслу автора, видимо, должен был стать антиподом Ветлугина-старшего. Станюкович не жалеет слов для положительной характеристики этого флотоводца. Поминается и то, что "беспокойный адмирал" "получил основательное морское воспитание в школе Лазарева, Корнилова и Нахимова", и то, что со вступлением его в командование флотом на Тихом океане "эскадра оживилась, как оживляется добрый конь, по-

чуявший опытного и смелого всадника".

Однако эти утверждения по большей части остаются авторской декларацией. Они находят лишь малое выражение в поступках героя. Запоминается ряд комических ситуаций, в которых оказывается Корнев из-за своего трудного неукротимого нрава. В пылу возбуждения он то и дело совершает поступки, самым же им впоследствии осуждаемые: то оскорбляет ни в чем не повинного офицера, то бьет своего слугу Василия. Потом он ведет себя поразительно для военного флота того времени: не только прощает офицеру ответную его грубость, но и приносит извинения за свои необдуманные слова, принимает все меры, чтобы и слуга "не сердился" на него. Но "трогательные" сцены его раскаяний возложенную на них роль не выполняют. Помимо воли автора чувствуется, что Корнев, хоть и полон желания отринуть от себя все "ветлугинское", не может избавиться от "родимых пятен", доставшихся ему от прежних адмиралов вместе с одним из высших

флотских чинов.

Достоинства повести скорее даже не в характере главного героя, но в многочисленных приметах быта и нравов русского военного корабля, щедро рассыпанных по ее страницам.

Перо Станюковича обретает наибольшую силу, когда он прямо и непосредственно рисует с натуры. Попытки же подчинить жизненный материал вымыслу, переиначить его в соответствии с общими идейными установками, даются ему труднее. Недаром в "Беспокойном адмирале" едва ли не лучшими вышли страницы, где автор рассказывает о том, как Корнев пытается "приручить" гардемарин, проходящих нечто вроде стажировки на его флагманском корабле. Адмирал искренне расположен к этим юношам, он щедро угощает их изысканными блюдами, не жалеет дорогих папирос, полюбившихся начинающим курильщикам. Однако даже эти "приправы" не скрашивают для гардемарин наставительности его застольных бесед и явной дидактичности отрывков, избираемых Корневым для совместных

чтений. Юные флотоводцы являются на адмиральские обеды безо всякой охоты, идут по обязанности, словно на скучную вахту.

Эта линия повествования дышит живой жизнью, здесь веришь каждому слову автора. И не удивительно: именно так складывались в свое время взаимоотношения между Станюковичем и адмиралом А.А.Поповым, ставшим прототипом Корнева. В письмах, которые отправлял юный гардемарин сестре из разных портов мира, мы находим такие строки: "Он (Попов. — И.Д.) человек деятельный и добросовестный, любит меня очень, да мне не по нутру состоять при нем"...

Наверное, именно это умение писать прямо с натуры отметил в первую очередь Станюкович, когда прочитал "Письма из деревни" Гарина-Михайловского. Благодаря такой специфической особенности таланта ощутил он родственную душу в будущем авторе "Детства Темы", "Гимназистов", "Студентов", "Инженеров" — тетралогии, которую А.М.Горький назвал "целой эпопеей". Два эти писателя в русской

литературе конца прошлого века занимают особое место. Они оба стали как бы предтечами того направления нашей прозы, которое А.Твардовский назвал позднее "прозой бывалых людей". Это, и верно, особый тип литературы: в нем профессия автора, доскональное знание дела, о котором пишет, умение передать на страницах своих книг особый профессиональный мир со сложной спецификой людских взаимоотношений занимает особо важное место.

И, думается, спешил Станюкович к Михайловскому, чтобы поделиться тем важнейшим открытием своим, на постижение которого затратил он так много лет.

Старания "крестного отца" оказались не пустыми. И хотя "крестник" попался ему норовистый, хотя далеко не все в их отношениях складывалось так, как хотелось бы Станюковичу, Гарин высоко ценил их общение. Они постоянно чувствовали близость друг к другу. И если судьба надолго разделяла, то шла между ними деятельная переписка. Последние письма Гарину напи-

саны Станюковичем в конце 1902 — начале 1903 года из Италии, куда выехал он с надеждой поправить сильно пошатнувшееся здоровье. Надежде этой, однако, не дано было осуществиться.

Константин Михайлович умер в мае 1903 года. Похоронен на греческом кладбище в Неаполе, откуда в штормовые дни слышен гул моря...

— Игорь Дуэль[21]

# Примечания

Экипаж флотский — то, что в армии полк (  
*Прим. автора*)

[^^^]

## 2

В старину моряки кругосветное плавание называли "дальним вояжем". (Прим. автора)

[^^^]

# 3

Ш л ю п — трехмачтовое судно, похожее на  
нынешние корветы. (*Прим. автора*)

[^^^]

# 4

И н т р и п е л ь — абордажный топор. (*Прим. автора*)

[^^^]

# 5

Н о к — окончность рангоутного дерева.

[^^^]

## 6

Г р о т — вторая мачта на корабле.

М а р с — полукруглая площадка на мачте корабля.

Р е я — горизонтальный брус на мачте, служащий для привязывания парусов.

[^^^]

Дурной тон (франц.). (*Прим. ред.*)

[^^^]

Ожерелье с застежкой (от франц. *fermoir* — застежка). (*Прим. ред.*)

[^^^]

Желудочной лихорадкой (лат.)

[^^^]

«Развести» на морском жаргоне значит: поговорить крупно с начальством. (*Прим. автора*)

[^^^]

Флаг-капитан — должность вроде начальника штаба. (*Прим. автора*)

[^^^]

Гражданских (от лат. civilis)

[^^^]

«Копчинка» на языке кадетов значит «скупой». (Прим. автора)

[^^^]

Переменился. (*Прим. автора*)

[^^^]

Сильным (итал.)

[^^^]

Дерзость начальнику на шканцах усугубляет наказание, так как шканцы на военном судне считаются как бы священным местом. (*Прим. автора*)

[^^^]

На морском жаргоне «задаваться» — значит выставляться, поднимать нос. (*Прим. автора*)

[^^^]

Время рассказа относится к дореформенной Японии, когда можно было в чайных домах покупать временных жен, обязанных на время найма сохранять верность. (*Прим. автора*)

[^^^]

Игорь Дуэль (род. 2 июля 1937, Москва) — советский и российский писатель, автор произведений документальной прозы о тружениках моря: моряках, рыбаках, ученых-океанологах.

[^^^]